

А Н О Е И И Y C



ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БОДХИСАТТВЫ

АНОНИМУС
Приключения бодхисаттвы

© АНОНИМУС. Текст, 2022
© Исаев Д.А. Оформление, 2022
© ИД СОЮЗ, 2022
© ИП Воробьев В.А., 2022
© ООО «ЛитРес», 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

Пролог. Старший следователь Волин

Бывший дом страхового общества «Россия» возвышался над окрестностями Сретенского бульвара, как огромный корабль, коварной судьбой загнанный в тесный для него док возвышается над более мелкими судами, стоящими по соседству. Для полного сходства с кораблем дому не хватало только русалки на бушприте – впрочем, ее успешно заменяли огромные серые часы, недвусмысленно напоминавшие суетному обывателю, что жизнь его обывательская коротка и лишь искусство – вечно.

Старший следователь СК^[1] Орест Волин задумчиво скользнул по корабельному фасаду взглядом, огляделся по сторонам. Что-то вокруг было не так, что-то смущало его наметанный следовательский глаз... Ну да, вот же он, источник смущения! В огромной клумбе напротив дома цвели невыносимо прекрасные багряные маки.

«Маки посреди Москвы – это сильно, – подумал Волин. – Кто, интересно, заведует тут у них озеленением? Они бы еще коноплю высадили для полного восторга».

Мысль была, прямо скажем, фривольная, но, как ни странно, очень естественная. Дело в том, что Орест Витальевич Волин службу свою начинал как борец с наркотиками, и с той поры взгляд его приобрел особенный, недоступный простому горожанину, прицел. Некоторые вещи он видел как бы крупнее, чем они казались остальным, и прозревал в них иное, одиозное предназначение. С этой точки зрения даже обычный клей «Момент» смотрелся весьма подозрительно... Впрочем, что об этом говорить: борьба с подозрительными веществами давно ушла в прошлое, сменившись борьбой с подозрительными гражданами. Борьба же с последними не прекращалась ни на миг, хотя приобретала иной раз неожиданные черты. Как, например, это случилось сегодня.

– Кислое дело, пещера Лейхтвейса, – сразу предупредил его полковник Щербаков. – Нарисовался тут на горизонте один влиятельный бизнесмен по имени Анисим Московкин. Живет по адресу Сретенский бульвар, дом шесть дробь один.

– Хороший адрес, – заметил Волин. – И квартира, наверное, хорошая.

– Хорошая, – кивнул полковник. – Точнее, была хорошая. Потому что вчера она сгорела. При этом сам хозяин считает, что сгорела квартира не просто так, а в результате поджога.

– А что пожарные говорят? – спросил Волин. – Все ж таки их епархия, хорошо бы узнать мнение профессионалов.

– Пожарные говорят: короткое замыкание, – отвечал полковник. – Но Московкин, судя по всему, параноик. Люди с деньгами, понимаешь ли, всюду видят заговоры и покушения на их драгоценную жизнь и еще более драгоценное имущество.

Волин вкрадчиво осведомился, неужели же Следственный комитет пойдет на поводу у параноика и будет искать поджог там, где было явное замыкание?

– Следственный комитет не пойдет, а ты пойдешь, – кратко ответил Щербаков. – Московкин – человек влиятельный, может поднять вонь до небес. Так что будь с ним поделикатнее, а не как обычно. Тем более, что у него, как он говорит, есть доказательство поджога...

* * *

Волин заинтересовался: какое-такое доказательство?

– Какое доказательство? – переспросил Московкин, исподлобья глядя на следователя. Взгляд у бизнесмена был не в меру концентрированный, какой бывает у людей, целенаправленно занимающихся развитием воли. – Доказательство самое прямое. Вот, полюбуйте.

И он выставил перед собеседником большой фарфоровый кукиш. То есть это буквально была фига, только сработанная из фарфора.

– Вот этот предмет, – продолжал Московкин, – я нашел в спальне, где мы сейчас с вами и сидим. Кстати сказать, только спальню и не тронуло пожаром – успели затушить.

Волин бросил быстрый взгляд по сторонам: затушить-то успели, но комната все равно пострадала. Дорогие с золотом обои и потолок закопчены, кровать, диваны и кресла попорчены водой. А уж про остальные помещения и говорить нечего, огонь там поураганил не хуже, чем бывшие комсомольцы в лихие девяностые. Волин поначалу думал, что с Московкиным они встретятся не на пепелище, а где-нибудь в ресторане. Однако тот, видимо, решил, что следователь – что-то вроде пожарного инспектора и будет осматривать все произведенные разрушения. Так что сидели они отнюдь не в ресторане, а в не до конца сгоревшей спальне.

– Нет, я не спорю, – говорил между тем Московкин, – когда что-нибудь уносят, а потом поджигают – это дело обычное. Но когда, наоборот, приносят и потом поджигают, это уж, извините, верный знак...

Чего именно это верный знак, бизнесмен не договорил, да Волин и не очень слушал его разговоры. Следователь с любопытством осматривал бело-синий, под гжель, кукиш.

– Оригинально, – сказал он, – очень оригинально.

– Ничего тут оригинального нет, – с раздражением заметил Московкин, – страшно топорная работа.

– А вы что же, Анисим Иванович, разбираетесь в фарфоре? – заинтересовался следователь.

– Да тут и разбираться не надо, сляпано кое-как, – проворчал бизнесмен. – Другой вопрос, для чего сляпано и кем подкинуто. Это же явный троллинг, вы же понимаете?!

– Именно, именно. Троллинг, провокация и вообще хулиганство, – согласился Волин, а про себя подумал, что троллинг этот самому Московкину обошелся крайне недешево.

Но Анисим Иванович его не слушал. Его лицо с жесткими чертами миллионера горело огнем праведного гнева. Ничтоже сумняшеся он заявил, что троллей этих, кем бы они ни были, надо непременно поймать и наказать по всей строгости закона.

– Поймаем и накажем, – успокоил его следователь, – и всенепременно притом. А ответьте-ка, Анисим Иванович, честно и откровенно: кому вы могли перебежать дорогу?

Московкин поглядел на него с изумлением.

– Шутите? – сказал. – Я бизнесмен, я кому угодно мог дорогу перебежать, и сам бы об этом не догадался.

Волин покивал, это-то как раз понятно. Но среди тех, о ком можно догадаться, кого бы он выделил особо?

Анисим Иванович неожиданно посмурнел, поскущнул и отвечал в том смысле, что человек он законопослушный, бизнес ведет по правилам, явных врагов у него нет и никого конкретно подозревать он не может. А, впрочем, и не должен, потому что это вести расследование и ловить преступников – дело не потерпевшего, а наших доблестных органов.

Некоторое время доблестные органы в лице старшего следователя Волина мягко пытались разговорить бизнесмена, однако тот был явно не настроен откровенничать. Волин даже намекнул, что ведь поджигатели сами не угомонятся и в другой раз могут сжечь квартиру уже вместе с хозяином, но Московкин на эти рассуждения не повелся и разговорчивей не сделался.

Пока они беседовали, Волин выглянул в окно спальни и снова увидел клумбу – ту самую, с маками.

– Красивые маки, – сказал он. – Не знаете, кто у вас тут благоустройством занимается?

– Какие маки? – удивился Московкин.

– А вот, на клумбе.

И следователь кивнул в сторону окна. Бизнесмен подошел и в некотором изумлении уставился на цветы.

– Да, странно, – сказал он. – Только что росли петунии – и вдруг какие-то маки.

Сказав так, он внезапно побледнел. При этом зрачки его, как почудилось Волину, расширились от ужаса.

– Что? – живо спросил следователь. – Что-то вспомнили?

Анисим Иванович покачал головой: нет-нет, ничего не вспомнил, так, сердце немного прихватило. Он просит прощения, но сегодня говорить уже не может, устал, лучше бы созвониться позже – как на это смотрит Орест Витальевич?

– Позже так позже, – вздохнул Волин, – как вам будет угодно. А дулю эту фарфоровую я, с вашего позволения, заберу как вещественное доказательство.

И он откланялся, договорившись созвониться с Московкиным завтра.

Обратный путь его тоже лежал мимо клумбы. Орест Витальевич невольно замедлил шаг и даже остановился, разглядывая цветы. Интуиция подсказывала ему, что тут явно что-то не то. Кто и почему высадил маки вместо петуний? Ну, предположим, садовник-гастарбайтер ошибся семенами... Хотя нет, какие там семена! Маки, судя по всему, высаживали уже не семенами, а рассадой. Значит, ошибки быть не могло: хотели высадить маки – и высадили именно их. Но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, почему маки так напугали Московкина...

– Красиво растут, – раздался прямо над его ухом чей-то голос.

Следователь повернул голову. Голос был с легким акцентом, так что Волин почти не удивился, увидев справа от себя улыбчивого китайца. Удивился он, поняв, что китаец выше его на полголовы. Какие нынче китайцы пошли рослые, кто бы мог подумать!

– Питание, – объяснил неожиданный собеседник. – Как только стали нормально есть, тут же и выросли. И никакая генетика ничего здесь поделывать не может. У китайской молодежи метр восемьдесят пять – сейчас вполне обычный рост.

– Рад за китайскую молодежь, – буркнул Волин, совершенно не настроенный вести страноведческие беседы.

Однако незнакомец, похоже, как раз не прочь был поболтать.

– Вот вам, иностранцам, маки, конечно, кажутся красивыми, – продолжал он. – А для нас маки – это символ порабощения, символ уничтожения китайской нации. Когда в девятнадцатом веке Британия стала ввозить в Китай опиум, наркомания охватила десятки, если не сотни миллионов китайцев. Наши власти пытались запретить ввоз проклятого дурмана, но это было не в интересах захватчиков. Англичане начали против нас войну, которая так и называлась – «опиумной».

– Интересно, – Волин наострил уши, – очень интересно.

Китаец кивнул – еще бы не интересно – и продолжал.

– Первую опиумную войну мы, конечно, проиграли. Потом была вторая – проиграли мы и ее. И хотя сейчас Китай свободен и самостоятелен, но маки для нас по-прежнему – символ уничтожения и угрозы. Это знает всякий, кто имел дело с китайцами.

– Ах, вот оно что, – следователь наконец посмотрел прямо на собеседника. – Простите, как вас зовут?

– Зовите меня Димой, – отвечал тот. – Мы, китайцы, на чужбине обычно берем местные имена.

– Очень приятно, – сказал Волин. – А меня зовут Орест Витальевич.

– Я знаю, – сказал Дима.

Он почему-то больше не улыбался, не улыбался и Волин.

– Я правильно понимаю, что у вас ко мне разговор?

– Вы правильно понимаете, – Дима говорил по-русски очень хорошо, но некоторые звуки, очевидно, давались ему с трудом – например, звук «р». Поэтому слово «правильно» в его исполнении звучало как «прлавиьльно». Однако это его не смущало, и он продолжил. – Но говорить мы будем не здесь. Я за рулем, а тут неподалеку есть китайский ресторан. Как вы смотрите на то, чтобы там пообедать?

Волин смотрел на это положительно, и уже через двадцать минут они листали меню, сидя в небольшом подвальном помещении.

– Кухня тут аутентичная? – любопытно спросил Орест Витальевич.

– Как говорят у вас в России, кому и кобыла – аутентичная невеста, – Дима иронически оглядел стены заведения, расписанные иероглифами, улыбнулся и добавил: – Впрочем, я шучу. Ресторан аутентичен настолько, настолько аутентичным может быть китайское заведение в русской Москве. Некоторые уступки местному вкусу все равно делаются, но в целом очень даже ничего. Кстати сказать, знаете, как определить аутентичность ресторана по его внешнему виду?

Волин, разумеется, не знал. Может быть, по красным фонарикам у входа?

Дима засмеялся: фонарики, конечно, это чисто китайская слабость, но фонарики вполне может повесить и русский хозяин. Нет-нет, все гораздо проще. Только китайский хозяин способен устроить ресторан в помещении без окон. Для европейца это дико, поскольку отсутствие окон ассоциируется у него с мышеловкой. У китайца же наоборот – замкнутость пространства ассоциируется с покоем и уютом. Во всяком случае, каждый проходящий мимо не будет пялиться на тебя через окно, от чего современные китайцы очень устают.

– Да, – сказал Волин, оглядываясь, – здесь окнами и не пахнет.

Дима поинтересовался, нет ли у него кулинарных и религиозных предрассудков. Узнав, что нет, заказал нарезку из ароматной говядины, черные яйца сунхуадáнь, битые огурцы, курицу гунбáо, свинину юйсáнь, баранину с тмином, карпа ганьшáо и тигровые креветки в устричном соусе.

– Восемь блюд, – сказал он, потирая руки, и засмеялся. – Счастливое число у китайцев. Я взял, с одной стороны, блюда известные, с другой – не слишком специфические, чтобы не подвергать ваш вкус испытаниям.

Когда одно за другим стали приносить блюда, Волин поднял брови: такого количества еды мы не осилим.

– Не страшно, – отвечал Дима, – что не съедим, возьмем с собой. Есть такое китайское слово – «даба́о», то есть «завернуть». Применительно к ресторану оно значит то же самое, что английское «догги бэ́г», только звучит красивее.

– За несколько минут разговора с вами можно узнать о Китае больше, чем за целый курс в университете, – заметил Волин, осторожно пробуя ароматную говядину.

Собеседник покивал и сказал, что это очень удобно: все равно ведь, сказал, вам придется учиться китайской культуре. Волин удивился – почему это ему надо учиться китайской культуре? Не лично ему, поправился Дима, но им, то есть всем иностранцам. Этого следователь тоже не понял: с какой стати все иностранцы непременно должны изучать многовековую культуру Китая?

Ответ на это оказался очень простым. Китаю, по мнению Димы, принадлежало будущее. Именно ему, а не исламским странам, как думают многие на Западе. Пять тысяч лет истории научили китайцев двигаться вперед неуклонно и непобедимо, а это значит, что никто их не остановит. В конце концов, в выигрыше окажутся именно те, кто будет знать китайскую культуру и китайский язык...

– Понятно, – сказал Волин. И, подумав, добавил: – Вкусное мясо.

– Вкусное, – согласился китаец. – Хотя мне больше нравится тот же рецепт, но с ослиатиной. В Китае ходит поговорка: драконье мясо – на небесах, ослиное – на земле.

Принесли карпа. Выглядел он, прямо скажем, пестро и экзотически. Однако, по словам Димы, вкус имел сногшибательный, нужно было только не бояться и попробовать.

– А я вообще ничего не боюсь, – отвечал Волин, палочками выщипывая карпу бок. – Кстати, о страхе. Это вы посадили маки под окном Московкина?

И он остро поглядел на китайца. Тот усмехнулся.

– Вы, русские, слишком прямолинейны. Но я давно живу в России, я привык. И потому отвечу вопросом на вопрос: это вы отправили анонимное письмо китайскому послу?

– О каком письме речь? – удивился Волин. – Не понимаю.

Дима в ответ заметил, что он не понимает, о каких маках идет разговор.

– Содержательный у нас разговор, – буркнул следователь.

Китаец отвечал, что разговор не станет содержательным, пока не сделается откровенным. Правда, он тут же добавил, что насчет письма им и так все известно, так что Волин может говорить что хочет. А за Московкина он напрасно переживает: это очень нечестный и плохой человек. У него с китайской корпорацией был крупный контракт на поставку машиностроительного оборудования. С первой, пробной партией никаких проблем не возникло. Но станки, пришедшие потом, оказались устаревшими. Некоторые были просто сломанными, в некоторых недоставало деталей.

– Одним словом, прислал ваш Московкин мусор, – подытожил Дима. – И, таким образом, пытался нас обмануть. А китайцев обманывать нельзя, это противоречит природе. Нет, сами китайцы, конечно, могут друг друга обманывать. Могут они также обманывать иностранцев. А вот иностранцы китайцев обманывать не могут категорически.

– Почему? – спросил Волин, пробуя баранину.

– Потому что нельзя, – с восхитительной простотой отвечал собеседник. – А те, кто пытается нас обмануть, те будут строго наказаны.

– И кто же их накажет? – поинтересовался следователь, пережевывая баранину. – Может быть, коммунистическая партия Китая?

Китаец засмеялся и сказал, что это совершенно не важно, кто именно накажет. Может, компартия, может, небеса, может, всемилостивый Будда. Главное, что наказание будет неотвратимым. Нет, сначала, конечно, их предупредят...

– Например, высадят у дома маки? – перебил его Волин.

– Например, – согласился китаец. – Ну, а если они не заметят предупреждения или будут его игнорировать...

– На них подадут в международный арбитраж, – снова перебил Волин.

Дима не возражал – и это может быть. Чего только ни бывает в наши дни – даже международный арбитраж. А до этого, например, у строптивцев может сама собой загореться квартира. Как говорят в России, мелочь, а приятно. Но, впрочем, все это не так уж интересно: не мытьем так кáтаньем Московкина заставят выполнить свои обязательства перед КНР. Гораздо интереснее для них фигура Волина.

– А как я связан с Московкиным? – удивился Орест Витальевич.

Оказалось, что никак. Точнее, не был никак связан, пока его не связали компетентные люди. Как говорят китайцы, одним ударом убить двух крыс. Ну, или если больше нравится, то одним выстрелом – двух зайцев. Кукиш фарфоровый, который бизнесмену подбросили, это ведь не столько Московкину, сколько Волину презент – в ответ на его анонимное письмо китайскому послу.

– Вы, Орест Витальевич, не в свое дело полезли, когда решили вернуть Рыбину его коллекцию, – имя «Орест» снова прозвучало у китайца, как «Орлест». – Ваше дело было искать, и, разумеется, не найти, потому что задача эта вам не по зубам. А вы решили начать политические игры. Решили шантажировать – как это у вас говорят? – серьезных людей. Вы понимаете, что с вами может сделать... да хотя бы ваше начальство, если узнает, куда вы сунулись? Ведь это политика, господин Волин, политика чистой воды... К счастью, мы вас не виним. Мы же понимаем, что виной всему ваш добрый друг, старый пердун генерал Воронцов...

* * *

– Так и сказал? – закричал Воронцов.

Генерал сидел в своем любимом глубоком кресле перед Волиным и глядел на гостя выцветшими голубыми глазами.

– Так и сказал, – отвечал Волин. И ехидно добавил: – А что, собственно, вас смущает?

– Да так, – отвечал Воронцов. – Старый пердун – это как-то невежливо... Прилагательное, по-моему, грубовато.

– Прилагательное – может быть, а существительное – в самый раз, – мстительно заметил Волин. – Сергей Сергеич, вы хотя бы понимаете, что своими мудрыми советами поставили меня лицом к лицу с китайской разведкой? А ей меня ликвидировать – как два пальца об асфальт.

Генерал снова закричал и заметил, что не так-то все это просто. Во-первых, Волин все-таки лицо официальное, должностное. Во-вторых, находится под его, генерала Воронцова, личным покровительством.

– Да? – изумился Волин. – И чем же вы мне поможете в случае чего? Закажете бесплатную панихиду в храме Христа Спасителя?

Генерал насупился и отвечал, что зря он недооценивает значения панихиды. Для загробной жизни, между прочим, вещь очень важная, даже, можно сказать, первостепенная.

– Сергей Сергеич! – Волин в ярости вскочил со стула и заходил по комнате. – Я тоже люблю шутку, юмор, сарказм, наконец... Но сейчас мне не до шуток. Видели бы вы этого Диму!

Генерал отвечал, что ему это не нужно, он в свое время немало этих китайских дим повидал, и, как видите, ничего – жив и здоров. Впрочем, черт с ними, забудем про Диму! Пока, слава Богу, все живы-здоровы, так что будем надеяться на лучшее. А сейчас самое время взяться за новую порцию дневников Загорского.

Волин искренне полагал, что меньше всего его сейчас заинтересуют дневники действительного статского советника. Однако, услышав предложение Воронцова, ощутил неожиданный прилив любопытства.

– Так он, значит, все-таки остался жив? – спросил Волин, раскрывая папку с расшифровкой.

– Читай, – коротко отвечал генерал.

Орест Витальевич бросил взгляд на первую страницу и воскликнул:

– Ага, опять нет предисловия!

– Зато послесловие есть, – сказал Воронцов. – Но я тебе советую читать все по порядку. Чтобы, как сейчас говорят, без спойлеров.

Волин кивнул и углубился в дневник.

Глава первая. Пленник бардо

«– О сын благородной семьи! Путь, данный тебе сегодня – это путь величайшего освобождения, путь, которым не ходил ни один из живущих. Путь этот противоречит человеческому знанию, но он противоречит и знанию божественному. Он противостоит самой природе, но пройти его нужно без изъятий, пройти до конца, и тогда высокая миссия будет исполнена и вся тьма живых существ – спасена...

Голос гремел, словно колокол. Он возникал из пустоты и растворялся в пространстве, он пронизывал каждую клеточку тела, обращался в сияние и затухал во тьме, чтобы возродиться снова и снова. Он не был библейским гласом свыше, он был гласом отовсюду. Он звучал, как непреложная истина, он диктовал, он вел за собой...

– На пути явлена будет тебе абсолютная суть бытия – но не та, что постигают, освобождаясь, смертные, а та, что постигают, возвращаясь, будды. Свет и тьма откроются тебе как единое и нераздельное, истина и ложь пройдут сквозь твое сердце, не изменив его, ты не переродишься, но вернешься к истоку. Отныне нет для тебя благих перерождений, и нет для тебя неблагих перерождений, нет ни ада, ни рая, нет сансáры^[2] и нет нирвáны^[3], но есть лишь миссия, которую собрался ты исполнить, вернувшись, как бодхисáттва, в мир людей.

Да явится тебе светоносная пустота, а мы будем вести тебя путем небывалым. Помни, если оступишься ты на этом пути, то не погибнешь, но погибнет мир людей и с ним – все прочие миры, ибо если нет перерождений в мире людей, то нет насельников и в иных мирах.

О сын благородной семьи, пришло то, что называют смертью, но не нужно тебе пробуждение, ибо ты достиг его раньше, и не нужны

тебе ни тело дхárмы^[4], ни Великий принцип. Все, что нужно, это пройти указанным путем, не соблаздившись ни одной новой формой, ни одним миром и ни одним перерождением. Ибо задача твоя – пройти, не перерождаясь, чтобы дух твой, поправ законы кáрмы^[5], осенил собою мертвое тело и вернул его в мир живых.

Помни, что должен ты вернуться в мир людей, но не переродиться при этом, ибо нет у тебя времени расти и развиваться в обычном человеческом теле, но должен ты быть тем, кем ты был до смерти.

Не нужно тебе медитировать на своего идама – божественного защитника, ибо ты сам – божественный защитник, и сознание твое способно существовать в полной пустоте, даже если погибнет вся тьма миров...

Испытав бардо^[6] предсмертного мига, вспомни бардо абсолютной сути и познай бардо возвращения в сансару, ибо в последней своей жизни не исполнил ты своей божественной миссии, и потому Владыки кармы дают тебе еще один шанс.

О сын благородной семьи, бодхисáттва^[7], махасáттва^[8]! Четыре дня был ты без сознания и вот теперь очнулся в бардо абсолютной сути. Ужасен будет твой путь, ибо предстоит бессмертному духу вернуться в мертвое, разлагающееся и неподобающее для него хранилище, но ты пройдешь этот путь, или десять тысяч миров обратятся в слепящую тьму. Прими пять ядов, пять омрачений, и ты познаешь, что нет форм и неформ, познаешь, что такое сила мертвой материи, и поймешь, что нет способа сделать мертвое живым. Вспомни пять Татхагáт^[9] и постигнешь, что нет невозможного для бодхисаттвы. Какие бы чудовищные видения ни ждали тебя в бардо предсмертного мига – не утрашись! Какие бы прельстительные картины ни возникали перед тобой в бардо абсолютной сути – не соблазнись... Помни, что все перед тобой не есть порождение ума, но есть непреложный закон бытия. Помни, что мертвое сильнее живого, и что влечет оно к себе живое, и

побеждает живое, и всему живому назначен конец, и все живое станет мертвым, если только сияющий дух не оживит его...

Голос, гремевший, словно колокол, стал вибрировать, расслаиваться, а потом стихать, меркнуть и блекнуть, а тьма, окружившая пленника бардо со всех сторон, начала мерцать и вспыхивать. Из тьмы этой явился ему свет, ослепительный, невозможный, а из глубин света родился чудовищный звук, как если бы тысяча голодных духов взвыли одновременно, сойдя из своего безнадежного мира на людские могилы, чтобы оживить трупы и терзать их зубами под беспомощные стоны мертвых.

Затем пространство вокруг опрокинулось, засияло жестоким синим светом и явился пленнику бог Вайрочана, но был он один и не было рядом с ним супруги, Владычицы Алмазного Пространства. «Это луч сострадания благословенного Вайрочаны, я обрету в нем прибежище», – хотел сказать пленник, но губы его не двигались, скованные печалью и страхом. Изошедший из божества свет пронизал его, но вызвал не радость и наслаждение, а боль и тоску, и стало ясно ему, что больше никогда не быть ему на пиру богов. Луч сострадания стал не благословением, а мукой, проклятием, и пленник закрыл от него свое сердце и отвернул от него свое лицо. Сияние сменилось тьмой, а божественные мелодии – ужасным скрежетом, и Вайрочана, беспомощный перед мировым хаосом, распался на атомы.

– Не ищи наслаждения в мягком белом свете мира богов, не увлекайся им и не тоскуй о нем! – прогремел ему голос с недостижимых высот. – Если он увлечет тебя, ты отправишься в мир богов и будешь вращаться в кругу шести видов сансары. Это препятствие заграждает путь освобождения – так не смотри на него.

Он и не смотрел, не смотрел, так ему было страшно, такая тоска обуревала его, словно тиски, сжав ему череп, не позволяли сердцу биться, а мысли – двигаться. Не смотрел он на Вайрочану, не смотрел и на других богов. Не привлекли его пять иллюзорных, нечистых миров: ни мягкий белый свет мира богов, ни мягкий

красный свет ревнивых богов, ни мягкий зеленый свет мира животных, ни мягкий желтый свет мира голодных духов, ни мягкий дымный свет адского мира. Напрасно явились владыки-демоны, сияющие пятью цветами, обнимающие соблазнительных жен своих, танцующие с черепами, полными крови. Попусту извивались змеями бесчисленные да́кини^[10] – полуобнаженные, нестерпимо соблазнительные. Вотще заходились в сокрушительном танце, божественные воители, хранители закона, гневные божества, пьющие кровь – многоликие, многорукие, многоногие, головы их украшены высохшими черепами, тела – гирляндами из черных змей. Танец их был долог и томителен, как бессонная ночь, но не устрасился их пленник бардо, как до того не соблазнился наготой дакини.

– Это не образы, порожденные умом, – гремел голос, – но реальность, как она есть. Пойми ее и оттолкни ее, иди к другой реальности, туда, где сияет тебе соблазнительным маяком мягкий синий свет людей, свет страданий и омрачений, свет сансары. Иди туда, вернись туда, но не перерождайся!

Легко сказать – иди... Куда идти, когда кругом свет и тьма, пустота и наполненность, дрожит хаос, распыляется космос, гневные боги машут кривыми ножами и пьют, пьют кровь из черепов живых еще людей чудовищные обнаженные гаури^[11], пожирают кишки умирающих и без конца отрывают головы мучеников, которые тут же прирастают снова – и так день за днем, век за веком, тысячелетие за тысячелетием.

Сияй, сияй обманной синей свет, мани в объятия сансары, бросай последнюю надежду, чтобы даже бодхисаттва преисполнился очарованием мира людей, вошел в него, но не так, как положено всем живым существам, а через мертвое, разлагающееся тело. Это попрание всех законов, а, значит, неизвестно, кто войдет в мир таким образом – бодхисаттва, святой или новое, невиданное еще чудовище.

Глаза пленника заволкло красным светом, белым светом, желтым светом, зеленым светом, дымным демоническим светом. Он поднял взор и увидел над собой багровое фиолетовое небо, оттуда грозил ему шестипалым кулаком тысячезубый будда, разевал пасть, в которой дрожал, разворачивался Млечный путь. Из страшного этого, не рожденного еще космоса вдруг выпрыгнул чудовищный десятиликий демон с черными волосами, желтой кожей и косыми, невидящими глазами, прыгнул, загребая руками пространство и время, наклонился над пленником, высунул истыканный когтями язык и закричал пронзительно:

– Хозяин! Хозяин, вы живы?!

Пленник захлопал глазами, десять лиц чудовища задрожали и слились в одно – очень знакомое, вот только вспомнить, кто это, было никак нельзя. Он напрягся, сделал над собой невероятное усилие – и растворился во тьме. Легкое прохладное покрывало небытия накрыло его разум, охраняя от богов, от людей, и от демонов.

* * *

– Трудный случай, – озабоченно пробормотал лекарь-китаец, моргая глазами. – И вообще трудный, и в деталях. А тут и вовсе что-то странное...

И он потыкал пальцем в темный след на руке Загорского. Ганцалин только вздохнул – да что ж тут непонятного: здесь когда-то было трупное пятно. Хозяин весь был покрыт ими, когда лежал в тайном зале Потáлы и сорок монахов читали над ним «Книгу мертвых», пытаясь вернуть к жизни. При этом двое надавливали ему на грудь, чтобы сердце не останавливалось, а еще двое по очереди качали дыхательный мешок, чтобы работали легкие. И все это при мертвом, недеиствующем мозге.

– Ну уж и мертвом, – наверняка сказал бы Нестор Васильевич скептически, – ты знаешь, что такое кома?

Ганцзалин знал, что такое кома, но у хозяина была не кома. Он был мертв окончательно и бесповоротно, в этом были совершенно уверены тибетские ламы и сам драгоценнейший владыка Тхуптэн Гьяцбó. Но нельзя было, чтобы Загорский умер совсем, и нельзя было, чтобы он переродился в другом теле. Именно поэтому монахи читали над его телом тайный раздел тибетской «Книги мертвых», тот самый, который известен только Далай-ламе и одному из его наставников. Раздел этот заучивается наизусть и передается от одного тибетского властелина другому. Он никогда не становится достоянием более чем трех человек одновременно – самого Далай-ламы, его учителя, и учителя его предшественника. Раздел этот принадлежит к самой темной и самой тайной тибетской магии. Магия эта способна заставить переродиться человека в том же самом теле, из которого изошла его душа, притом переродиться полностью, со всеми знаниями, умениями и навыками – и так, чтобы личность переродившегося не потерпела никакого ущерба.

Люди сторонние сказали бы, что это просто возвращение души в тело, но ламы предпочитали термин «перерождение». Может, по традиции, может, для того, чтобы было не так страшно. Кто знает, кто явится в мертвое тело из потусторонних миров, кто успеет занять его до того, как душа придет на свое законное место?

За полторы тысячи лет тибетского буддизма тайный раздел «Книги мертвых» не использовался ни разу. И на то были свои причины. Во-первых, перерождение в собственное тело доступно лишь пробужденному очень высокого порядка, проще говоря, бодхисаттве. Во-вторых, это чрезвычайно трудная магия – обычно гораздо проще устроить так, чтобы человек переродился в другом теле.

– Но с твоим господином этот метод не годится, – сказал Ганцзалину Далай-лама. – Если он переродится в другом теле, придется ждать, пока он вырастет и станет дееспособным. А у нас на

это нет времени. Он должен исполнить свою задачу, причем взяться за нее как можно быстрее. У нас нет времени ждать двадцать лет, когда явится новый великий сыщик, нам нужен этот и желательно сейчас. Поэтому мы попробуем возродить его в старом теле.

– Это возможно? – спросил Ганцзалин.

Далай-лама пожал плечами – удивительно было видеть эту привычную европейскую повадку в тибетском первосвященнике.

– Кто знает, – сказал он, – кто знает... Предание гласит, что возможно, но мы будем первыми на этом пути. Трудность еще и в том, что если попытка наша провалится, Дэ Шань уже никогда не воплотится в этом мире.

– Не воплотится? Что же с ним тогда будет? – робко спросил Ганцзалин.

– Что угодно, – сухо отвечал Тхуптэн Гьяцё. – Он может заблудиться в одном из нечистых миров – в адском мире, в мире демонов, в мире животных. Может застрять в бардо перехода от жизни к смерти, может создать свой мир, в котором его сознание будет разворачиваться бесконечно и бесплодно. Для нас же это будет означать, что еще одним пробужденным на земле окажется меньше.

Ганцзалин нахмурился: меньше? Это значит, что он никогда не увидит хозяина?

Наимудрейший поморщился.

– Ты и так его не увидишь, – сказал он раздраженно. – Если Дэ Шань переродится где-то и когда-то, тебя наверняка там не будет. А сейчас, говоря языком профанов, мы попытаемся вдохнуть в него жизнь. Это будет тот же самый Дэ Шань, только прошедший бардо. Впрочем, он, скорее всего, ничего не запомнит. Иногда бодхисаттвы вспоминают свои прошлые жизни, но прошлые смерти они, как правило, не помнят.

Несколько секунд Ганцзалин размышлял, потом поднял голову и посмотрел на владыку Тибета.

– Хорошо, – сказал он, – хорошо. Я согласен.

Тхуптэн Гьяцо неожиданно развеселился.

– Он согласен, – смеялся Далай-лама, – подумать только, он согласен! Да кто же спрашивает твоего согласия, когда на весах находятся судьбы мира?

– Я имею право высказать мнение, я – самый близкий ему человек, – хмуро сказал Ганцалин.

Далай-лама неожиданно перестал смеяться, смотрел на Ганцалина серьезно. Глаза владыки показались ему сейчас острее любого, самой острого копья, они ранили навывлет. Но страшнее глаз этих оказались его слова.

– Нет, – сказал Тхуптэн Гьяцо, – ты не самый близкий. У Дэ Шаня есть человек ближе, только он об этом не знает. Это раз. И второе – ты и не человек вовсе. Ты демон, выпущенный из ада, чтобы сопровождать пробужденного.

Ганцалин открыл рот.

– Что? Какой демон? – недоуменно спросил он. – Как я могу быть демоном?

Далай-лама сурово отвечал ему, что только демоном он и может быть. Согласно традиции, переродившихся бодхисаттв и архатов обычно сопровождают свирепые существа, они должны оберегать пробужденных. Существа эти – хранители, только потому им и позволено переродиться в нашем мире. Иногда они выглядят как люди, иногда – как дикие звери.

– Ты наверняка видел изваяния архатов, сопровождаемых тиграми, – сказал Далай-лама. – Это и есть демоны-хранители.

Оказалось, что независимо от формы, принимаемой хранителями, они всегда надежные спутники пробужденного и готовы отдать за него жизнь. Ведьмы, узнав об этой традиции, решили обзавестись своими демонами, которых они называют фамильярами. Обычно это кошки, совы, вороны и так далее. Но, разумеется, до настоящих демонов им так же далеко, как ведьмам – до бодхисаттв.

– Неужели ты никогда не удивлялся своей поистине нечеловеческой ярости и свирепости? – Далай-лама смотрел на

Ганцалина с неожиданным интересом.

Помощник Загорского поморщился: он не всегда был яростен и свиреп.

– Разумеется, – усмехнулся первосвященник. – Человеческая плоть – могучий сосуд, он подчиняет любой дух. Чтобы пробудить истинную твою природу, понадобились особенные обстоятельства. Давай-ка угадаю: когда ты был молод, погиб человек, которого ты любил больше жизни...

Ганцалин заскрежетал зубами: никто не смеет об этом говорить! Никто, перебил его Драгоценнейший, никто, кроме твоего господина. Его слова не вызывают у тебя ярости. А знаешь, почему? Потому что благодаря этой трагедии пробудилась твоя истинная природа и ты начал исполнять свою миссию.

Ганцалин сначала кивнул угрюмо, потом немного подумал и все-таки возразил. Если все так, как говорит Наимудрейший, то демон из него никудышный: господин гораздо чаще спасал Ганцалина, чем Ганцалин – господина.

Тхуптэн Гьяцо отвечал, что речь идет о вещах более сложных, чем простая защита. Демон-хранитель оберегает в первую очередь от сверхъестественных атак. Самый простой случай – появление возле пробужденного мага или колдуна, который может навредить ему теми или иными способами. И в этот момент на защиту хозяина становится хранитель, иногда сам того не ведая. Его нечеловеческая ярость и жестокость отпугивают врага. Но за преданность свою хранитель вынужден платить: как человек он обычно одинок и несчастлив.

Глава вторая. Купец второй гильдии

Сорок дней и сорок ночей ламы-заклинатели читали над Загорским тибетскую «Книгу мертвых» – и мертвый вернулся к жизни. Когда-то в древней Иудее такие чудеса совершал один человек, и голыми руками притом, одной только верой, без всяких технических приспособлений. Однако с тех пор много воды утекло: чудотворство перестало быть приватным занятием и стало делом больших коллективов. Как всякое подлинное искусство, оно изо всех сил сопротивлялось переводу на промышленные рельсы, но не устояло и было заменено наукой и техническими фокусами, которыми можно сколько угодно восхищаться, но которые, однако, не одолевают законов природы. Несмотря на все сказанное, некоторые чудотворные методы сохранились еще от древних времен и дошли до нас в тайных книгах и в устной передаче.

Итак, Загорский вернулся к жизни. Но, однако, вернулся не совсем, не окончательно. Он мог самостоятельно дышать, сердце его билось, внутренние органы работали. Однако, как сказал Далай-лама, яд был слишком силен, и некоторые естественные функции организма так и не восстановились до конца. Нестор Васильевич, вероятно, понимал, что происходит вокруг, но говорить и двигаться пока не мог: между духом его и телом стояла слишком серьезная преграда.

– И что же теперь? – терзался Ганцалин – он, как легко догадаться, был в отчаянии. Может быть, он был неправ, может быть, не следовало отдавать хозяина в руки лам? Так или иначе, дело было сделано, и единственное, что ему оставалось – задавать вопросы, ответы на которые, похоже, не знал не только человек, но и существа более высокого порядка.

Вот и Тхуптэн Гьяцо ничего ему не ответил. Разговор проходил в летней резиденции Драгоценнейшего – Норбулинке. Вокруг царил подлинный рай: с нестерпимо-синего неба тепло сияло солнце,

цвели редкие растения, порхали яркие экзотические птицы. Но первосвященника рай этот не радовал, и он сидел мрачнее тучи – обряд, на который возлагались такие надежды, себя не оправдал, или, во всяком случае, оправдал не совсем. Да, Загорский вернулся к жизни, но толку от него сейчас было не больше, чем от новорожденного младенца. Но если новорожденный хотя бы мог вырасти и стать дееспособным, дальнейшая судьба Нестора Васильевича в этом смысле оставалась темной. Придет ли он в себя окончательно, а если придет, когда это случится? Будет ли он в силах исполнять все те задачи, которые исполнял раньше, или смерть непоправимо поразила его человеческую оболочку? Эти и другие вопросы терзали сейчас Тринадцатого Далай-ламу, именно потому лицо его было мрачным, как никогда.

Наконец он поднял взгляд на Ганцзалина, который смотрел на него с робкой надеждой, не смея прервать медитации владыки.

– Теперь, – медленно проговорил Далай-лама, – теперь пришло время хранителя.

Ганцзалин не понял, что это значит. Тхуптэн Гьяцо объяснил.

– Все, что можно было сделать, мы уже сделали, – сказал он. – Дальше в игру вступает природа и ее главные факторы – пространство и время.

Значение времени было понятно Ганцзалину: можно было надеяться, что со временем природа возьмет свое и хозяину станет лучше. Но при чем тут пространство?

Как выяснилось, и пространство имело значение. По словам его святейшества, следовало перевезти Загорского на родину. Душа и тело человека связаны с родиной кармически, от него они берут силу. Далай-лама припомнил русскую сказку про богатыря, который, когда его отрывали от земли, терял всю свою мощь. Но стоило ему стать ногами на родную землю, сила его возвращалась. Так должно было случиться и с Нестором Васильевичем.

– Впрочем, только на это одно я бы не уповал, – заметил Тхуптэн Гьяцо. – Тебе придется поискать врача на родине Дэ Шаня, да

притом не всякого врача, а такого, который способен совершить чудо.

Ганцалин лишь кивнул в ответ. Он готов был искать, он и сам готов был совершить любое чудо, лишь бы господин вернулся окончательно...

Все это и много еще чего Ганцалин мог бы рассказать китайскому лекарю, стоявшему перед ним, но не стал. Незачем было посвящать в тайну посторонних людей, история и без того выходила слишком диковинная. Удивительно тут было все, вплоть до того, что китайского лекаря, который взялся за лечение Загорского, нашел он не в Китае и даже не в Тибете, а в самом сердце России, на берегу Волги, а именно, в Самаре.

Три года возил Ганцалин хозяина по разным докторам – от знаменитых профессоров с европейской славой до темных бабок-ведуний. Результат если был, то такой ничтожный, что рассмотреть его невооруженным глазом не представлялось возможным. Однако Ганцалин не отчаивался.

Демон, говорил он сам себе в тяжелые минуты, ты – демон, и, значит, нет для тебя недостижимого. Услышали ли Ганцалина небеса, ад, или просто мать – сыра земля очнулась от вековечного своего сна, но врач нашелся. И нашелся он, повторюсь, в городе Самаре. Звали его Чан Бин, или, попросту, Чан-дэйфу, говоря по-русски, доктор Чан. По иронии судьбы имя доктора – Бин – совпадало по звуку с китайским словом «больной», хотя иероглиф был другой. Видимо, по этой же самой иронии сам он больным не стал, но взялся лечить больных и в лекарском своем мастерстве достиг невероятных высот.

Итак, в самый разгар августа 1917 года по Рождестве Христовом к платформе самарского вокзала, пыхтя, свистя и извергая белый пар, медленно подкатил московский поезд. Громыкнули вагоны, оживилась беспризорная молодежь, засуетились средней руки дамы и господа, несколько пообтрепавшиеся за полгода непрерывной революции, революционные же матросы, побросав пахучие

самокрутки прямо на заплыванный перрон, вразвалочку двинулись встречать состав.

Из темно-зеленого, несколько облупленного вагона третьего класса первыми попытались вырваться базарные торговки – бабы мясистые, пестрые, бойкие и крикливые. Однако они были решительно оттеснены железного вида немолодым китайцем, который легко отодвинул их в сторону. Вслед за тем с помощью проводника он вытащил из вагона кресло, в котором, закрыв глаза, сидел импозантного вида седоволосый господин с черными бровями. Господин сидел, как живой, но совершенно не шевелился.

Если бы сослуживцы Нестора Васильевича увидели бы его сейчас, нет сомнения, что они потеряли бы дар человеческой, да и любой другой речи. Действительный статский советник, который был сделан, казалось, из металла и которому по этой причине не было сносу, сдал явно и бесповоротно. Да что там сдал – он находился на грани жизни и смерти. Это было совершенно ясно, стоило только взглянуть на бледное его, как у древних вампиров лицо, на безжизненные тонкие руки и на хмурую физиономию его верного слуги. Слуга был хмур, потому что все предыдущие попытки привести хозяина в чувство закончились крахом, а грядущие перспективы выглядели все более туманными.

* * *

За завтраком младший сын купца второй гильдии Покидышева Евгений вел себя принужденно. Молодой человек глаз от стола не поднимал, при этом безотчетно поглаживал правой рукой белую скатерть, а серебряная вилка в левой руке чуть заметно подрагивала.

Ливерий Николаевич делал вид, что ничего не происходит, и благодушно беседовал с дочерью Марией о последней книге

господина Северянина, называвшейся «Поэзоантракт». Северянин Покидышеву-старшему не нравился:

– Помилуй, – говорил он, – что это такое значит: «у матерей созрел дюшес грудей?» Что за фривольное садоводство?

– Ах, папа, – сердилась Мария, – это лишь образ. У него не все такое. Есть множество гениальных стихов. Чем плохо, например, «В березовом коттэдже» или «Ананасы в шампанском»?

– Не то что бы плохо, но, на мой вкус, несколько вульгарно, – осторожно, стараясь не задеть дочь, замечал Ливерий Николаевич.

– Папа, вся современная поэзия такова, а Северянин гений, и с этим невозможно спорить...

Вилка в левой руке Евгения начала уже выстукивать дробь, так что пришлось воленс-ноленс разговор прервать и посмотреть на сына. Тот наконец решился.

– Отец, – сказал Евгений, по-прежнему глядя в стол, – отец, нам нужно поговорить.

Ливерий Николаевич промолчал – он знал, о чем хочет говорить сын, и тема эта была ему категорически не по душе. Но Евгений не унимался, сегодня он решил сказать все, что считал нужным.

– С твоего позволения давай перенесем беседу на другое время. Деловые разговоры за завтраком вредят пищеварению, – хмуро сказал Ливерий Николаевич.

– Никак невозможно, – дерзко отвечал Евгений. – Мы только за трапезой и встречаемся, остальное время вы заняты.

– Милые мои, не будем ссориться... – начала было Анна Яковлевна, но перехватила взгляд мужа и умолкла. Молчали и старшие дети – Мария и Владимир.

В самом деле, нужно решить вопрос раз и навсегда, подумал Ливерий Николаевич. Ради такого случая можно и пищеварением пожертвовать.

Покидышев-старший промокнул рот салфеткой, отложил нож и вилку, посмотрел на сына в упор. За последние три-четыре года тот сильно изменился. Недавний круглолицый бутуз стал интересным

молодым человеком, оформившиеся усики придавали его лицу нечто офицерское. От мальчишки-подростка остались только пухлые губы и высокий фамильный лоб. Занятия лаун-теннисом оформили его тело, сделали его крепким и одновременно изящным, барышни таких молодых людей отмечают особо. Но Евгению, увы, было не до барышень. Пару лет назад завелась у него одна идэ́фикс, с которой он носился. «Как дурень с писаной торбой», – в сердцах добавлял про себя Покидышев, но вслух, конечно, не говорил, чтобы не ожесточать сына.

– Ты, разумеется, опять о войне, – сказал Ливерий Николаевич сухо.

– Разумеется, – Евгений смотрел исподлобья. – Если вы думаете, что я перемену свое решение, то...

– Такие решения не принимаются самостоятельно, – хмуро заметил Покидышев-старший. – И ты знаешь, что я твою идею не благословляю.

Сын заерзал на стуле, засопел, потом заговорил неожиданно высоким, срывающимся голосом.

– Я взрослый человек, и я патриот России! Я не собираюсь отсиживаться в тылу, пока моя страна истекает кровью на фронтах!

– Ах, какой слог, – насмешливо заметил отец, – ты стихов, случайно, не сочиняешь? Может быть, с нами за одним столом сидит еще один Игорь Северянин?

Евгений неожиданно покраснел. Ливерию Николаевичу стало и досадно, и жалко сына. Конечно, если говорить о чести, достоинстве и патриотизме, он, безусловно, прав. Вот только патриотизм и достоинство тут совершенно ни при чем...

– Почему же ни при чем? – не выдержал Евгений.

– Потому что, – отвечал Покидышев-старший решительно, – потому что война эта – не отечественная, как в двенадцатом году. Война эта империалистическая, то есть несправедливая с обеих сторон.

Евгений поднял брови: с каких это пор отец стал поклонником Ульянова-Ленина? Тот отвечал, что он ничей не поклонник, но даже и социал-демократы способны иногда говорить трезвые вещи.

– Так может быть, вы по такому случаю выйдете к городской думе с красным флагом и вместе с работниками ваших магазинов будете петь «Марсельезу»? – язвительно любопытствовал сын.

– Мон анж ^[12], что за дерзости? – нахмурилась Анна Яковлевна. – Все же ты разговариваешь с отцом, прошу, не забывайся!

Но муж остановил ее движением ладони. Очень трудно опровергать благородные порывы у детей, особенно если ты сам занимался их воспитанием. Но сейчас Ливерий Николаевич готов был на крайние меры. Он точно знал, что нельзя отпускать Евгения ни на какую войну, он чувствовал это, как говорил его знакомый доктор, спинным мозгом.

Конечно, он боялся, что сына ранят или даже убьют. Но дело было не только в этом. Ливерий Николаевич полагал, что война в принципе противоречит человеческой природе. В природе цивилизованного человека – договариваться, а не воевать. И даже коммерческие выгоды, которые непременно получали негодяи во время боевых действий, не могли, с его точки зрения, оправдать войну. Исключение составляла война защитительная, отечественная – но это был не тот случай. Идущая сейчас мировая война представляла собой кровавую бойню, и он не собирался отправлять на фронт сына только потому, что кому-то пришло в голову помахать шашкой.

– Понимаете ли вы, что мне стыдно смотреть в лицо людям? – запальчиво продолжал Евгений. – Я – здоровый, сильный молодой человек – сижу в тылу, в то время, как тысячи моих сверстников гибнут на фронтах...

– Господи, да ты просто начитался патриотических прокламаций! – не выдержал отец. – Ты закончил коммерческое училище – кем ты собираешься служить в армии? Бухгалтером?

Счетоводом? Маркитантом, может быть? Ах да, чуть не забыл – ты еще умеешь тачать сапоги.

– Отец, вы оскорбляете меня... – голос у Евгения задрожал.

– А ты оскорбляешь здравый смысл! – Ливерий Николаевич не выдержал, ударил все-таки ладонью по столу. Зазвенели серебряные вилки, упал на пол и разбился хрустальный бокал. – У тебя молоко на губах не обсохло, ты не понимаешь, что такое жизнь и смерть! Я не позволю своему сыну покончить с собой только потому, что ему вожжа под хвост попала!

– Папа! – умоляюще проговорила Мария, но мать сжала ее руку.

Воцарилось тягостное молчание. Стало слышно, как на окне жужжит вялая августовская муха.

– В таком случае, – слова давались Евгению с трудом, но он преодолел себя, – в таком случае не нужно мне ваше благословение. Я немедленно отправлюсь на призывной пункт и запишусь в действующую армию добровольцем.

– Ты уже записывался в армию, – язвительно отвечал Покидышев-старший, – ты помнишь, чем это закончилось?

Евгений вспыхнул и посмотрел на отца сердито.

– Я уеду в другой город, в другую губернию, туда, где нет ваших шпионов – и меня все равно запишут...

Евгений бросил вилку, поднялся из-за стола и пошел вон из столовой.

– Пстой, – устало сказал Ливерий Николаевич ему вслед, – погоди.

Евгений остановился на пороге, но на отца не смотрел.

– Я предлагаю тебе уговор, – продолжал Покидышев-старший. – Сегодня – 14 августа 1917 года. Подождем до Рождества. Если ничего не изменится, быть по-твоему. Я отпущу тебя в армию и дам свое благословение. Но до Рождества ты обещаешь ничего не предпринимать. Согласен?

– До Рождества, может быть, война уже закончится, – хмуро произнес сын.

– Уверяю тебя, она не закончится, – отвечал Покидышев-старший. – Так ты согласен?

Несколько секунд Евгений молчал. Потом, так ничего и не сказав, вышел вон.

Легко понять, почему настроение у Покидышева в этот погожий летний день было отвратительное. После начала войны торговые дела шли все хуже, но гораздо больше его беспокоила горячность сына. Он действительно вырос, и уже нельзя было просто запретить ему или запереть дома. Дело зашло слишком далеко, Евгений готов был пойти даже против отеческой воли. Конечно, в купеческой семье со старым укладом такое нельзя было даже представить. Но Ливерий Николаевич был человек прогрессивных взглядов, он воспитывал своих детей как людей благородных, интеллигентных. И вот теперь пожинал плоды этого воспитания.

Почему Покидышев-старший попросил сына подождать до Рождества, он и сам не знал. По меньшей мере, казалось ему, удастся выгадать несколько месяцев, а там видно будет. Но нет, даже этого не случилось. Все, все что было таким ясным, устойчивым и незыблемым, распадалось и рушилось буквально на глазах. Главным импульсом, конечно, стало отречение государя-императора. Временное правительство Львова-Керенского оказалось никуда не годным и с управлением огромной страной справиться не могло – во всяком случае, во время войны. Возможно, адвокаты способны управлять государством в мирное время, но в трудные минуты людям жизненно необходим не просто правитель, а помазанник Божий. А помазанника мало что отправили под арест, так еще и звали теперь на совершенно дурацкий манер «гражданином императором».

Однако огорчения огорчениями, а дело стоять не могло. Покидышев-старший отправился на вокзал – встречать пришедший из Москвы вагон с товарами для его галантерейного магазина. Конечно, можно было поручить все дело управляющему. Однако, во-первых, даже народная пословица гласит: свой глазок – смотрок.

Во-вторых, времена пошли смутные, ненадежные, и за важными вещами лучше было приглядывать самому. До прибытия поезда Ливерий Николаевич успел заглянуть к начальнику станции и только потом отправился на перрон, где его уже ждал управляющий со смешной украинской фамилией Дружина, то есть «жена». Сам управляющий, правда, утверждал, что фамилия эта старославянская и означает не жену никакую, а княжеское войско. Впрочем, работник он был хороший, так что Покидышеву совершенно было безразлично, украинец он или кто еще. Да хоть древний римлянин, лишь бы работал на совесть!

Отдав последние распоряжения по разгрузке и доставке товара, Ливерий Николаевич собирался уже покинуть вокзал и ехать в магазин. Но тут перед ним вырос печальный желтолицый человек с косыми, как у черта, глазами. Человек толкал перед собой инвалидную кресло-коляску. В коляске полулежал седовласый господин с черными бровями и удивительно молодым лицом. Глаза у седовласого были закрыты, был он бледен, как мертвец, но тонкие неживые черты лица источали какое-то странное очарование.

Спящий красавец, невольно подумал Покидышев. Любопытно, есть ли на свете принцесса, которая разбудит его к жизни поцелуем... От дальнейших романтических размышлений отвлек его желтолицый. Почтенный вид Ливерия Николаевича, вероятно, вызвал у него доверие, и он обратился к купцу с вопросом, не знает ли тот, где расположен дом Покидышева, угол Панской и Дворянской.

Азиат говорил на очень приличном русском языке, но не был похож ни на башкира, ни на калмыка, ни на другого какого родного русскому человеку эскимоса. Более всего походил незнакомец на японца или китайца.

– Дом Покидышева? – переспросил Ливерий Николаевич. – Вы, наверное, в магазин?

– Нет, – отвечал японец или китаец. – Нам нужен доктор Чан. У него там врачебный кабинет.

– Да-да, – кивнул Покидышев, – доктор Чан мне хорошо знаком.

Да и как, скажите, было ему не знать доктора Чана, если тот несколько лет назад вылечил Ливерия Николаевича от довольно сложной болезни, с которой не знали, что делать, наши, европейские врачи. Помещения на втором этаже сдавались внаем предприятиям и частным лицам, в одном из них и практиковал китайский доктор. В благодарность за излечение Покидышев сдавал ему кабинет с большой скидкой.

Ливерий Николаевич, после недавнего разговора с сыном чувствовавший настоятельную необходимость как-то развлечься, решил сам проводить китайца, представившегося Ганцзалином и его тяжело больного хозяина, действительного статского советника Нестора Васильевича Загорского, до места. По дороге выяснилось, что живший в столице Ганцзалин прекрасно знал тамошний, санкт-петербургский магазин Покидышева, куда регулярно заглядывал его господин, бывший изрядным франтом.

Покидышеву надо было с кем-то поделиться своей тревогой относительно сына, да и общего состояния дел в государстве. Не все можно сказать близким людям, а пришлому китайцу, которого, может быть, видишь первый и последний раз в жизни, язык странным образом сам выбалтывает самое важное. В приступе неожиданной откровенности Покидышев жаловался на строптивость сына, рвавшегося на войну, а Ганцзалин слушал и кивал сочувственно.

Сам у себя он спрашивал в этот миг, для чего он слушает излияния постороннего и совсем чужого ему, хоть, вероятно, и доброго человека. Ведь семейные проблемы – самые сложные на свете, и разве может он ему чем-то помочь? Но потом почему-то вспомнил слова, сказанные Загорским незадолго до смерти: «Нельзя воевать со всем миром. Надо искать союзников где только возможно».

Тут мысли китайские приобрели неожиданный оборот. Если бы на его месте был хозяин, думал Ганцзалин, он бы наверняка понял, как помочь Покидышеву. Может быть, и Ганцзалин тоже сможет – не зря же он столько лет жил рядом с величайшим сыщиком в мире.

– Значит, на войну рвется, – повторил китаец неожиданно. – Это плохо.

– Мало сказать – плохо, – кивнул купец. – Это ужасно, и мне как отцу просто нестерпимо такое слышать. Ведь я его знаю, сколько его ни удерживай, все равно сбежит. И убьют его там, убьют, я сердцем чувствую. А как прикажете его удержать – ведь взрослый же человек и характер имеет весьма самостоятельный!

– Мы вот что, – сказал Ганцзалин, подумав самую малость, – давайте-ка вот как поступим. После приема у доктора заедем к вам домой. Я, кажется, понял, как остудить вашего добровольца...

Глава третья. Новый китайский друг

Чем дольше осматривал доктор Чан Загорского, тем более озабоченным становился. Напоследок он выслушал ему пульс в нескольких местах и лицо его помрачнело окончательно.

– Можно что-нибудь сделать? – не выдержал Ганцзалин.

Доктор Чан был из Гуанчжоу, пекинского, а тем более сианьского диалектов не знал, так что два китайца говорили между собой по-русски. При этом у Ганцзалина неожиданно прорезался отчетливый китайский акцент.

– Можно, – после некоторой паузы отвечал доктор, – но болезнь тяжелая. Нужны золотые иглы.

– Хорошо, – сказал Ганцзалин.

– Болезнь необычная и тяжелая, – задумчиво продолжал лекарь. – Нужно будет много игл.

– Хорошо, – повторил Ганцзалин.

– Это будет дорого, – сказал доктор Чан.

– Ничего, можно, – сказал Ганцзалин.

Однако сумма, которую назвал китайский эскулап, неприятно поразила клиента. Конечно, по старым временам такие деньги для Нестора Васильевича ничего не значили. Но сейчас были не старые времена. Загорский три года лежал в глубокой коме, все наличные были потрачены на многочисленных врачей, а к банковскому счету хозяина, как легко догадаться, Ганцзалин доступа не имел.

При этом лечение должно было начаться уже завтра, а, значит, деньги нужны были тоже завтра. Где взять такую сумму в такие короткие сроки, Ганцзалин положительно не знал. В глубочайшей задумчивости вывез он хозяина на улицу, где увидел Покидышева, который стоя на тротуаре, говорил с директором Северного банка. Заметив Ганцзалина, Покидышев распрощался с собеседником и направился к китайцу. Тот с некоторым недоумением воззрился на Ливерия Николаевича.

– Что? – спросил Ганцалин, но тут же и вспомнил: – Ах да, сын!

Теперь, разумеется, ему было не до купеческих детей, потому что ему хватало своих забот. Но просто бросить человека, который ждал и надеялся, который, в конце концов, непонятно почему ему поверил, Ганцалин не мог. Точнее говоря, так вполне мог бы поступить старый Ганцалин. Но теперь, проведя в скитаниях с полумертвым хозяином три года, познакомившись поближе и с человеческой подлостью, и с человеческим великодушием, китаец изменился. Раньше он мог быть злым, жестоким, эгоистичным и вообще каким угодно, потому что рядом был Нестор Васильевич, который смягчал и гармонизировал любое дело. Теперь же все обстояло совсем иначе. Теперь, кажется, Ганцалин должен был выступить вместо Загорского – во всяком случае, пока тот не придет в себя.

– Что сказал врач? – полюбопытствовал Покидышев. – Можно ли что-то сделать для вашего господина?

– Можно, – сказал Ганцалин, не входя в детали, – все можно.

И они отправились в дом Ливерия Николаевича. Сказать, что Анна Яковлевна была фраппирована, когда в дом вошел незнакомый китаец, везущий в коляске полумертвого своего хозяина, значит не сказать ничего. Однако она и бровью не повела и только улыбалась радушно, когда Покидышев-старший представил ей своего нового китайского друга и его хозяина, действительного статского советника Загорского.

– Добро пожаловать, – сказала она, – очень рады знакомству, господин...

– Для вас – просто Газолин, – отвечал китаец, галантно целуя ей ручку.

Все же долгая жизнь с его превосходительством не прошла для него даром, и он усвоил некоторые светские манеры.

– Что от меня требуется? – тихонько спросил Покидышев-старший, когда формальности знакомства были исполнены.

– Ничего особенного, – так же тихо отвечал Ганцалин. – Просто ведите себя, как обычно. Что вы собирались делать дальше?

Ливерий Николаевич отвечал, что обычно в это время они обедают. Ганцалин, с трудом удерживая урчание в животе, объявил это прекрасной идеей, которую нужно немедленно воплотить в жизнь.

Спустя пять минут все собрались в столовой. Все, кроме Евгения – он запаздывал. Было видно, что домочадцы немного нервничают и плохо понимают, как же вести себя в такой обстановке. Все чувствовали себя не в своей тарелке, только дочка Мария украдкой поглядывала на Нестора Васильевича, черты которого под электрическим освещением обрели совершенно мраморный оттенок.

– Как это ужасно, – наконец вздохнула она. – Такой молодой еще, красивый – и совершенно не помнит себя. Сколько ему лет?

– Пятьдесят, – отвечал Ганцалин, который помнил, что в России, в отличие от Китая, ценится не старость, а молодость.

– Ах, он выглядит моложе, – живо сказала Анна Яковлевна, – ему не дашь больше сорока пяти. Но, может быть, вашему господину нужно отдохнуть? Его можно отвезти в какую-нибудь покойную комнату...

– Нет, – отвечал Ганцалин решительно, – он будет обедать с нами.

Услышав такое, все, кроме Покидышева-старшего, переменились в лице. Ганцалин же сидел с совершенно непроницаемой физиономией. В этот миг в столовую вошел Евгений и замер на пороге.

– Прошу прощения, – сказал он, опешив. – Я, кажется, запоздал...

Отец представил ему Ганцалина и Загорского. Евгений несколько нервозно раскланялся с китайцем и сел на свое место. Воцарилась неловкая тишина. Покидышев-старший откашлялся и обратился к гостю.

– А в чем же причина столь тягостного состояния его превосходительства?

– Война, – кратко отвечал тот. – Артиллерийский обстрел. Очень маленький осколок попал в голову и застрял в головном мозге.

– Как это ужасно, – сказала Анна Яковлевна, было видно, что она потрясена. – Неужели ничем нельзя помочь?

– Нет, – сурово отвечал Ганцалин. – Медицина тут бессильна.

Покидышев-старший бросил на него быстрый взгляд, но ничего не сказал. Некоторое время все печально молчали. Наконец Евгений заерзал и спросил:

– Но он что-то слышит?

– Врачи считают, что он все слышит, чувствует и понимает, но выразить ничего не может, – важно отвечал Ганцалин.

– Вероятно, это очень тяжело, – покачал головой старший сын Владимир.

– Врачи считают, что больной испытывает тяжелейшие нравственные и физические мучения, – как по-заученному отбарабанил Ганцалин. – И помочь, повторяю, ничем нельзя.

Тут наконец принесли первые блюда. Ганцалин, воспользовавшись моментом, попросил для Нестора Васильевича приготовить протертое овощное пюре.

– Он может есть? – спросил Евгений.

– Глотать может, – отвечал китаец. – Если бы не мог, давно бы умер.

Некоторое время все в полном молчании ели суп со спаржей и пулярками. Опустошив свою тарелку, Ганцалин взялся за кормление хозяина. Он вытащил бутылочку, похожую на ту, из которой кормят младенцев, только побольше, заправил ее овощным пюре и решительно засунул в рот Нестору Васильевичу. Кадык на шее Загорского отрывисто дернулся, пюре из полуоткрытого рта протекло на подбородок, оттуда – на шею, перепачкав воротничок.

– Это ничего, – молвил Ганцалин, заботливо утирая хозяину рот, – это всегда так бывает. Мой хозяин – герой войны, я горжусь, что могу быть ему полезен. Немножко трудно за ним ухаживать, но у него кроме меня никого нет из близких.

– Но ведь если он ест, у него должны быть и какие-то другие... физиологические отправления, – нерешительно заметил Евгений.

Ганцзалин посмотрел на него долгим взглядом – таким долгим, что молодой человек даже смутился.

– Я же говорю: трудно ухаживать, – сказал он наконец. – Война нас не пощадила. Много подгузников, много стирки, все время переворачивать, чтобы не было пролежней. Это тяжелая работа, ужасная работа. Конечно, если бы была мать или жена, или другие родственники, это бы все легло на них. И мне было бы легче. Но хозяин спас мне жизнь, а я буду спасать его. Как бы там ни было, ему сейчас труднее, чем мне.

– И сколько же он будет находиться в таком состоянии? – спросил притихший Евгений.

Ганцзалин нахмурился и пару секунд сверлил взглядом молодого человека, потом все-таки соизволил ответить:

– Пока не умрет.

Обед, определенно, был сорван, домочадцы, подавленные, без всякого интереса тыкали в еду ножами и вилками.

– Но это не самое страшное, – сказал Ганцзалин. – Есть вещи пострашнее.

– Какие же? – обмирая, спросила Мария.

Ганцзалин повернулся к хозяину и случайно задел его кресло локтем. От толчка кресло покачнулось и повалилось вместе с сидящим в нем Загорским. Все ахнули и замерли от ужаса. Один только Ганцзалин не растерялся и успел железными пальцами ухватить кресло почти у пола. Владимир, сидевший ближе всех, помог ему восстановить статус-кво.

Ганцзалин глядел на Марию.

– Вы спрашивали, что страшнее, – проговорил он медленно. – Вот это страшнее всего. Если он упадет, кости будут переломаны, а внутренние органы тяжело травмированы. И вот тогда ухаживать за ним станет не в пример труднее. Он будет мучиться, а мы даже не поймем, что с ним происходит.

Евгений, слушавший это, сидел бледный, с остановившимся взглядом. Покидышев-старший исподтишка посматривал на сына. Ганцзалин же восседал на своем стуле гордо, как какое-то неведомое китайское божество...

Наконец обед, вероятно, самый тяжелый в истории семьи Покидышевых, подошел к концу. Ливерий Николаевич взялся сам проводить Ганцзалина и его хозяина. Некоторое время они шли по улице молча, китаец катил кресло и глядел прямо перед собой.

– Это правда, что спасти Нестора Васильевича невозможно? – наконец спросил Покидышев-старший.

– Возможно, – отвечал Ганцзалин, – я просто хотел напугать вашего сына.

Ливерий Николаевич усмехнулся: что-что, а напугать Евгения ему удалось. Теперь ни о какой армии и речи быть не может, и огромное за это спасибо Ганцзалину. Если бы сын его погиб на фронте, он не знает, как можно было бы пережить подобное горе. Ганцзалин, однако, слушал Покидышева рассеянно и кивал невпопад. Тот заметил его состояние.

– Вас что-то тревожит? – спросил он.

Ганцзалин только головой покачал: нет, все в порядке.

– А где вы остановились? – спросил Ливерий Николаевич.

Китаец отвечал, что пока нигде, но, вероятно, поблизости есть какой-нибудь постоянный двор или дешевая гостиница.

– Да зачем же вам гостиница, если у моей жены есть доходный дом тут неподалеку! – воскликнул Покидышев. – Вам там будет очень удобно, и денег, разумеется, с вас мы никаких не возьмем.

При этих словах Ганцзалин немного просветлел лицом и с благодарностью кивнул. Ливерий Николаевич был опытный человек и быстро понял причину озабоченности китайца. Крайне деликатно он попытался выяснить, сколько запросил доктор Чан за лечение. Не сразу, но Ганцзалин все-таки признался, что за курс придется выложить тысячу рублей. Но трудность даже не в этом, трудность в том, что деньги эти нужно найти до завтрашнего дня. А здесь, в

чужом городе, среди незнакомых людей найти так скоро такую изрядную сумму совершенно немыслимо.

Услышав это, Покидышев-старший облегченно засмеялся.

– Любезный Ганцалин, – сказал он торжественно, – знайте, что этот город для вас не чужой. И здесь у вас есть друзья, которые в любой момент протянут вам руку помощи.

Сказавши такие слова, Ливерий Николаевич немедленно предложил китайцу тысячу рублей. Тот было уперся, говоря, что не может просто так взять такую большую сумму, но Покидышев сказал, что дает эти деньги в долг, заимообразно, а вернуть их можно, когда Загорский придет в себя и получит доступ к своему банковскому счету. Ведь в том, чтобы взять в долг, тем более у друзей, нет ничего предосудительного, не так ли?

И тут Ливерий Николаевич впервые за весь день увидел, что печальный и хмурый китаец способен улыбаться, причем совершенно безудержно, во все зубы.

– Благодарю, – сказал Ганцалин, пожимая руку купца обеими своими, – огромное вам спасибо, дорогой Ливерий Николаевич...

На это Покидышев отвечал, что это он должен благодарить Ганцалина за то, что он спас его сына и деньги – это самое малое из того, чем может он ответить на такое спасение, сердечная же его благодарность не имеет никаких границ.

После этого они заглянули в Северный банк, где Покидышев сам снял со счета и отдал Ганцалину тысячу рублей наличными. Потом купец проводил Ганцалина и Загорского к доходному дому и поселил в лучшей квартире. После чего они наконец расстались, чрезвычайно довольные собой и друг другом.

Глава четвертая. Французский бокс в действии

Бывший дворецкий Загорского, а ныне советский трудящийся Артур Иванович Киршнер пребывал в необыкновенно скверном расположении духа. В этом не было ничего удивительного, такое расположение сохранялось у него уже почти два года – начиная с октябрьского переворота. Разумеется, переворот февральский тоже был не сахар, однако же за вычетом государя-императора, городских и появления дурацкой привычки именовать всех налево и направо «гражданами» существование оставалась вполне терпимым. Но с октябрьским переворотом жизнь в понимании Артура Ивановича кончилась. Осталась только жизнь, как ее понимал пролетарский писатель Фридрих Энгельс – то есть форма существования белковых тел в постоянном самообновлении химических частей.

Белковые тела пока еще имелись в наличии, и даже химические части их регулярно самообновлялись благодаря спирту и самогону, следствием какого самообновления был неистребимый запах мочи во всех парадных бывшего Санкт-Петербурга, а ныне Петрограда. Однако, повторим, жизни в сложившихся условиях не было и, выскажем крамольную мысль, и быть не могло.

После октября дом действительного статского советника Нестора Васильевича Загорского национализировала власть трудящихся. К счастью, самого Загорского в этот миг дома не оказалось, он, по каким-то известным одному ему причинам проживал в Москве.

Попытки же Киршнера объяснить комиссии, явившейся конфисковывать дом, что нельзя национализировать жилище действительного статского советника, встретили со стороны сознательных пролетариев полное непонимание и угрозы «шлепнуть старого козла» прямо во дворе. В этих обстоятельствах выбор у

Артура Ивановича был небольшой: быть героически шлепнутым на месте либо временно отступить и затаиться. Как человек здоровый и чуждый дурацкому героизму, он предусмотрительно выбрал второе.

Как показали дальнейшие события, выбор был сделан совершенно правильно. Новые власти конфисковали всю недвижимость в стране, однако управлять ей не могли – руки были коротки, да и не было у комиссаров такого количества рук, хотя некоторые из них, вроде Троцкого или Ленина, по своей хватистости вполне могли сойти за осьминогов. Так или иначе, чтобы не остаться среди руин, советская власть вынуждена была изобрести домовые комитеты, или, выражаясь языком рабоче-крестьян, домкомы.

Домкомы эти состояли обычно из особенно ответственных жильцов. После национализации дом Загорского оказался заселен в основном его же слугами, их чадами и домочадцами. В этих обстоятельствах наиболее ответственным жильцом следовало, разумеется, признать Артура Ивановича Киршнера. Во-первых, он был немец, то есть компатриот главных большевиков Маркса и Энгельса, во-вторых, уже имел опыт управления именно этим домом.

Таким образом, на шестом десятке лет Киршнер неожиданно для себя сделался трудящимся и председателем домкома. Учитывая царящий вокруг бедлам, в просторечии именуемый гражданской войной, было крайне трудно организовать жизнь по старым образцам, тем более, что не только уполномоченный комиссар, но и любой человечиска при пистолете вполне мог куражиться над почтенным дворецким и тыкать ему этим пистолетом в зубы, а тот не мог ему даже кулаком двинуть в ответ.

Дополнительно отягощали ситуацию революционные настроения, охватившие бывшего кучера Нестора Васильевича Прошку. С началом революции Прошка стал ходить на митинге и там окончательно свернул набекрень и без того небогатые свои мозги.

– Надысь не то, что ономясь, – говорил он, откушавши самогону, которым его снабжала приехавшая из деревни бабка Любка, на правах сельского пролетария размещенная в кухне, где она не

только жила и спала, но и гнала этот самый самогон в совершенно промышленных масштабах. – Нынче каждый имеет свое право...

В чем именно состояло это право, кроме как напиться до положения риз и ругаться последними словами, кучер Прошка не знал, но это не мешало ему считать себя пролетарием и революционером.

– Гляди у меня, контра, – говорил он Киршнеру угрожающе, – только подними хвост против советской власти – враз шлепну гидру. Ты тут из милости живешь, нетрудовой элемент, тебя давно разбуржуинить надо. Смотри, подыметесь рабочий класс от векового рабства, пустит тебе юшку – три дня сморкаться будешь.

Видимо, героические подвиги рабочего класса, по мнению Прошки, не шли дальше того, чтобы расквасить нос старому дворецкому. По счастью, дальше угроз Прошка не шел. Во-первых, большинство жильцов было на стороне Киршнера, во-вторых, кучер все-таки побаивался пудовых кулаков Артура Ивановича.

Поэтому угрожал он, лишь сильно выпив, а в остальное время был хмур с похмелья и только невнятно бурчал про какой-то распердѣж, который, по его мнению, организовали в доме Киршнер и другие настроенные против советской власти члены домкома. И хотя Артур Иванович пару раз ему указывал, что, во-первых, говорить следует не распердѣж, а раскардаш, а, во-вторых, никакого раскардаша в доме у них нет, а напротив, царит образцовый порядок, то есть такой, какой только возможен в нынешних тяжелых обстоятельствах. Но в этом вопросе Прошка твердо стоял на своем, видимо, полагая употребление бранных слов частью культурной политики большевиков. Может быть, он был не так уж неправ. Людей старого воспитания ужасало, с какой легкостью употреблялись вслух слова, которых раньше сторонились даже ломовые извозчики. И употреблялись они не в узком кругу или закрытом клубе любителей бранной лексики, а прилюдно, вслух, в окружении совершенно незнакомой публики, включая сюда стариков, детей, беременных женщин и барышень, еще даже и не думавших забеременеть.

Однако, в сущности, Прохор был меньшим злом из всех возможных и большого вреда бывшему дому Нестора Васильевича, а равно и его обитателям нанести не мог. В других домкомах, где власть захватили большевики, безответных квартирантов, как рассказывали Киршнеру, подвергали изощренным пыткам – собирали деньги на немецких сирот, пели революционные гимны, а в одном доме даже завели говорящую собаку. Собака, правда, из всех слов отчетливо выговаривала только одно – то самое, которое приличные люди именуют изящным словом «филей», но зато уж лаяла она его безостановочно. Среди большевиков собака эта считалась провозвестником светлого будущего человечества и свидетельством того, до каких высот может довести живое существо экономическая теория Карла Маркса.

После октябрьского переворота ни Загорский, ни помощник его Ганцалин в доме уже не появлялись. Однако Нестор Васильевич прислал из Москвы свой новый адрес, чтобы, если паче чаяний, будут приходить ему письма, Артур Иванович пересылал бы их в нужное место. Кроме того, Загорский попросил отослать наиболее дорогие для него вещи на его дачу в Куо́ккалу, которая после революции оказалась уже как бы за границей советской России и где поэтому они находились в большей безопасности.

Артур Иванович не считал, что финский рабочий окажется честнее русского пролетария, однако веление хозяина исполнил и теперь второй уже год с тоскою ждал, когда власть большевиков наконец рухнет. По расчетам Киршнера, до этого оставалось днями считать. С запада на Петроград шел Юденич со своей армией, с юга красных теснил Деникин, с востока наступал адмирал Колчак. Еще месяц, в крайнем случае – два, и порядок будет восстановлен, а Нестор Васильевич наконец сможет беспрепятственно въехать в родные петербургские пенаты.

Но тут случилось неожиданное и весьма пренеприятное событие. После обеда, когда Артур Иванович по многолетней привычке собирался, как он говорил, предаться объятиям Морфея, в дверь

громко и требовательно постучали. Киршнер специально выбрал себе комнату поближе к выходу, чтобы в случае чего оказаться на передовом рубеже, потому что на остальных жильцов надежды было мало и единственное, на что они были способны, так это жалобно стенать да выкрикивать пьяные революционные лозунги. Ни то, ни другое, по мнению Артура Ивановича, не гарантировало дому полной безопасности. Именно поэтому на всякий посторонний стук к двери он являлся собственной персоной, и только если его не было на месте, дверь открывал кто-то другой – как правило, дворник Семен.

На сей раз стучали крайне требовательно: вероятно, явилась очередная инспекция на уплотнение. После переворота в Петербург хлынула лавина сомнительных личностей, а то и откровенных, по мнению Киршнера, мошенников, и всех их нужно было куда-то расселить. Именно по этой причине в городе почти не осталось целых квартир: каждая была поделена на множество комнат, в которых жили разного пола, возраста и калибра мошенники, часто совершенно незнакомые друг с другом и только и способные, что устраивать шумные битвы за внеочередное посещение клозета. Если вдруг какому-то приличному человеку правдами и неправдами удавалось отстоять себе две или три комнаты, то рано или поздно непременно являлась комиссия и требовала от домкома уплотнить нахального квартиранта, то есть из нескольких комнат переселить его в одну, а в освободившиеся запихнуть каких-нибудь шаромыжников.

До поры до времени Артуру Ивановичу удавалось выдерживать натиск комиссий, доказывая, что дом и так заполнен сверх всяких норм. Разумеется, он лукавил, и в доме значились живущими несколько человек, которые, строго говоря, не жили там, а в лучшем случае появлялись. Но как, скажите, существовать в этом советском бедламе, не прибегая к хитростям? На такое способен, пожалуй, только какой-нибудь чудотворец, но, поскольку советская власть всякое чудотворство запретило как буржуазный пережиток, то,

значит, и не было никого, кто мог бы жить честно, совершенно не лукавя при этом.

В дверь снова застучали – еще более требовательно, чем раньше.

– Кто там? – на всякий случай спросил из-за двери Киршнер.

– Комиссия! – повелительно крикнули снаружи и добавили еще что-то невнятно-картавое.

Услышав картавые звуки, Артур Иванович убедился, что снаружи действительно стоят комиссары. Как известно, после революции в комиссары завербовались многие сыны Израиля, до того прозябавшие в черте оседлости и не имевшие никаких жизненных перспектив, пока не примут православие. Прямо предать веру предков решался не всякий иудей, а вот участие в революционном движении, вероятно, не противоречило закону Моисееву.

Киршнер открыл дверь и обомлел. Вместо комиссаров в черной коже стоял перед ним небольшой желтолицый и сильно прищуренный человек в потерявшей цвет студенческой тужурке. Не тратя времени попусту, прищуренный шагнул в прихожую, отпихнув с дороги Артура Ивановича, который тщетно пытался загородить проход своей внушительной фигурой.

– Заголски здесь зивёт? – спросил желтолицый, уставив на бывшего дворецкого два черных, как пулеметные дула, глаза.

«Башкир, – подумал Киршнер. – Или китаец».

– А вы, простите, товарищ, кто будете? – поинтересовался он осторожно.

– Не твое собацье дело, – коротко отвечал тот. – Пловоди к Заголски.

Артур Иванович покачал головой.

– Нельзя ли для начала мандат ваш посмотреть? – спросил он внушительно.

Гость полез куда-то во внутренний карман, но вытащил оттуда отнюдь не мандат, а черный блестящий наган. После чего, не обинуясь, сунул его в нос Киршнеру.

– Вот тебе мандат, – сказал. – Нлавится?

И надавил еще, собака, чтобы вочувствовал как следует.

– Где Заголски? – сказал. – Два лаза повтолять не буду.

Артур Иванович уже понял, что, несмотря на малый рост, человек перед ним стоит решительный и бывалый. Можно было бы, конечно, по заветам Эрнеста Ивановича Лусталло попробовать свалить его хуком в левое ухо, но риск был слишком велик. Если сразу не собьешь с ног, он того и гляди наган свой разрядит прямо в физиономию. Киршнер и обычные драки недолюбливал, а уж такое, чтобы из нагана прямо в лицо – этого он и вовсе не переносил. К тому же, кажется, желтолицый был китайцем. А у него уже имелся несколько лет назад неприятный опыт потасовки с китайцами. Если этот хотя бы вполовину такой шустрый, как тот, шансы Артура Ивановича явно стремились к нулю.

– Его превосходительство уехали, – несколько гундосо сказал наконец Киршнер, которого начало уже нервировать, что в нос ему уперт заряженный револьвер.

– Когда, куда? – быстро спросил желтолицый.

– Еще до Октябрьского переворота... пардон, революции, – отвечал дворецкий. – Куда – не знаю, они мне не докладывались.

Желтолицый опустил наган и внимательно посмотрел на Киршнера.

– Влешь, – сказал он уверенно. – Блешешь, собака! Говоли, куда уехал...

Артур Иванович по манерам незваного гостя уже смекнул, что тот явился вовсе не за тем, чтобы сообщить Нестору Васильевичу нечто приятное. Сказать пришельцу московский адрес Загорского, скорее всего, значило навлечь на его превосходительство серьезные неприятности. Ну, а раз так, единственное, что оставалось Киршнеру – стоять на своем и ни в чем не признаваться.

– Я вынужден повторить, – начал дворецкий, – его превосходительство не обязан сообщать мне о месте своего нахождения...

Тут он вынужден был замолчать, потому что в лицо ему снова уткнули наган – на этот раз прямо в лоб.

– Убью, – сказал желтолицый холодно. – Башку плостлелю. Считаю до тлѣх: лаз... два...

Киршнер невольно закрыл глаза и приготовился отдать богу душу. Однако душа не хотела отдаваться – уж больно все случилось неожиданно. Наверное, надо было бы немножко поторговаться, потянуть время, но уж слишком быстр и решителен оказался незванный гость. Куда, интересно, попадет бедный Артур Иванович после смерти? Хотелось бы, конечно, думать, что в рай – за особенную преданность господину, но дело это такое тонкое, что даже священники ничего предсказать не могут, что уж говорить о самом будущем покойнике.

Не успел, однако, будущий покойник додумать эту скорбную мысль, как рядом раздался знакомый голос кучера Прошки, который, как оказалось, незаметно вышел из своей комнаты в прихожую и внимательно прислушивался к разговору дворецкого и желтолицего.

– Здорово, товарищ! Загорского ищешь?

– Исю, – отвечал желтолицый, поворачиваясь к Прошке. – Где он?

– Загадка нехитрая, – отвечал тот, снисходительно улыбаясь, – в Москву переехал.

– Адлес? – вкрадчиво спросил незванный гость.

– Адрес знает гидра и контра, – отвечал Прошка, кивая головой на Киршнера. – Он же с ним в переписке состоял.

– В пелеписке? – переспросил желтолицый, и глаза его загорелись нехорошим огнем.

Прошка подтвердил, и добавил еще, что наверняка аккуратист Киршнер оставил у себя конверты, приходившие от Загорского. На конвертах этих, конечно, и адрес сохранился. Надо в комнату к нему заглянуть для пущей ясности.

– Сволочь ты, Прошка, – Киршнер не стал стесняться в выражениях. – И к тому же иуда последний. Тебе лишь бы человека оклеветать.

Желтолицый ловко вывернул Артуру Ивановичу руку за спину, чтобы не сопротивлялся, потом кивнул Прошке:

– Веди, товались!

Прошка отвел его к комнате Киршнера. Ключей у дворецкого желтолицый требовать не стал, просто пнул железной ногой в дверь и вышиб замок.

К счастью, предусмотрительный Артур Иванович уничтожил все конверты, которые могли бы уличить его в связи с Загорским. Однако этого оказалось недостаточно. Первое, что бросилось в глаза незваному гостю – аккуратный коричневый блокнот, куда Киршнер записывал все, что следовало запомнить. Желтолицый бандит немедленно раскрыл блокнот и начал его листать.

– Так-так, – сказал он, – очень интелесно.

Само собой, Артур Иванович, записывая адрес, не написал, чей он. Но беда состояла в том, что в блокноте его было совсем мало адресов и только один из них – московский.

– Никитский бульвал, дом Глебенсикова, – прочитал желтолицый и бросил на Киршнера быстрый взгляд.

Тот сделал безразличное лицо, но бандита, разумеется, не обманул. Желтолицый осклабился и сказал, что убивать Киршнера не будет, поскольку тот проявил себя верным слугой. Однако придется его связать и оставить в комнате под присмотром Прошки, чтобы он не сбежал и не попытался предупредить Загорского.

Так они и сделали. Желтолицый связал Киршнеру руки и велел Прошке следить, чтобы тот не выходил из комнаты до завтрашнего вечера.

– Не беспокойся, товарищ, все сделаем как надо, – бодро отвечал ему бывший кучер.

После этого желтолицый исчез, прихватив с собой блокнот Киршнера.

– Ну, что, Артур Иванович, говорил же я – пора тебя разбуржуинить? – Прошка насмешлив глядел на дворецкого.

– Да что там меня разбуржуинивать, – отвечал тот нарочито небрежно. – Я же не его превосходительство, нет у меня полных закров. Так, может, накопил пару тысяч золотыми десятками на старость – а больше и нет ничего.

Глаза Прошки загорелись жадным огнем: ишь ты, пару тысяч! И где ж ты их хранишь?

– Так я тебе и сказал, – отвечал Киршнер. – Попробуй, отыщи.

И неприятно рассмеялся в лицо негодяю. Тот злобно оскалился: рано смеешься. Времени у нас много, я тут все вверх дном переверну. А когда найду – уж не взыщи, Артур Иванович, расстанемся мы с тобой не по-хорошему. Две тысячи золотыми десятками стоят того, чтобы рискнуть.

И он начал методично обыскивать комнату Киршнера, совершенно не боясь, что тот попытается сопротивляться – да и что он может со связанными-то руками? И действительно, со связанными руками ни один боксер ничего не может, будь он даже мировой чемпион. Однако мы, кажется, забыли сказать, что Эрнест Иванович Лусталло, у которого занимался когда-то Киршнер, был не только тренером английского бокса, но и французского савата. А французский сават, как всем известно, есть такой бокс, который для драки использует не только руки, но и ноги. И надо же такому случиться, что Артур Иванович все-таки взял у Лусталло несколько уроков того самого французского бокса.

– Ты чего встал, гидра? – через плечо, не глядя, кинул Киршнеру Прошка, сосредоточенно роясь в его бумагах. – Сядь взад, не доводи до греха...

– Дурак ты, Прошка, – сказал Артур Иванович. – Ноги тоже надо было связать.

И от души вlepил кучеру тяжелым ботинком по уху.

Глава пятая. Визит с того света

Погожей московской осенью 1919 года на скамейке во дворе дома Гребенщикова, расположенного на Никитском бульваре, отгородившись от мира газетами, сидели два гражданина. Человек, не искушенный в сыскном деле, сразу распознал бы в них немецких, английских или как минимум французских шпионов – и безошибочно попал бы пальцем в небо. Читением газет были поглощены действительный статский советник Загорский и его верный Ганцалин – ни тот, ни другой не имели к иностранной разведке никакого отношения.

Впрочем, по-настоящему увлеченно читал газету один только Нестор Васильевич. Ганцалин в своей газете проделал не совсем удачную дырку, через которую двор было почти не видно. К тому же он измазал руки в типографской краске и теперь сердито шипел и ерзал, браня на чем свет стоит советскую прессу.

– Ты знаешь, что по инициативе Горького учредили издательство «Всемирная литература», которое будет заниматься публикацией в России мировых литературных шедевров? – пробежав газетный лист глазами, спросил Загорский.

– Не знаю и знать не хочу, – отрезал Ганцалин. После излечения господина он утратил значительную доли печали и вернулся к своему обычному сердитому настроению.

– Не любишь Горького, – задумчиво констатировал Нестор Васильевич. – Напрасно. Он, конечно, босяк и сомнительная личность, но писатель по-настоящему крупный. Кстати, как, по-твоему, нужно переводить фамилию Горького на китайский?

– Кúев, – озабоченно отвечал помощник, пытаясь пальцем проткнуть в газете еще одну дырочку. Треклятый листок колыхался в воздухе и дырок в себе проделывать не позволял.

Загорский засмеялся.

– То есть от китайского «ку» – горечь? На мой взгляд слишком буквально, да и звучит несколько неблагозвучно. Я бы скорее склонялся к Кулиёву, от китайского же «кúли», то есть «горькая сила». Впрочем, если дела в советской литературе пойдут так и дальше, появятся тут и кúевы, и кулиёвы – в этом не может быть никаких сомнений...

– Кажется, идет, – перебил его помощник, заметив вошедшего во двор невысокого желтолицего гражданина в выцветшей студенческой тужурке.

– Вижу, – спокойно отвечал Нестор Васильевич, – а ты как детектив сейчас был не на высоте. Как известно, опытные шпионы обладают большой чувствительностью. Они могут на расстоянии ощущать повышенную мозговую активность того, кто за ними следит. Поэтому во время слежки большая часть мозга филёра должна быть занята посторонними и по возможности бессмысленными проблемами, например, обсуждением изящной словесности. Именно для этого вовлек я тебя в беседу о Горьком, а вовсе не для лингвистических штудий.

То ли желтолицый был недостаточно опытным шпионом, то ли благодаря усилиям Загорского удалось понизить электрическую активность Ганцзалиновского мозга, но неизвестный, не задерживаясь, прошел мимо них и унырнул в подъезд.

– Идем? – спросил Ганцзалин, который, как гончая, испытывал сейчас охотничье возбуждение и, сам того не чуя, по-собачьи раздувал ноздри.

– Дадим ему немного времени, чтобы спокойно вскрыл дверь и осмотрелся внутри, – остановил его хозяин.

Еще минут пять они сидели на скамейке, при этом Загорский уже не вел литературно-критических бесед, а, кажется, думал о чем-то своем. Ганцзалин же, напротив, украдкой поглядывал на часы, обнаруживая нетерпение, которое не подобало такому опытному человеку. Об этом ему как бы невзначай сказал Загорский, в ответ на что помощник заметил, что пока господин болел, он, Ганцзалин,

совершенно застоялся и не знает, способен ли он теперь на что-нибудь серьезное.

– Вот сейчас и посмотрим, – безмятежно сказал Нестор Васильевич.

С этими словами он встал и неторопливо последовал к подъезду. За ним свирепо топал Ганцзалин.

Совершенно бесшумно спустились они по лестнице в цокольный этаж. Секунду стояли перед прикрытой дверью, прислушиваясь. Загорский повернулся и кивнул Ганцзалину. Тот молча сунул руку в карман пиджака. Не стучась – да и странно было бы стучаться в собственную квартиру – они стремительно вошли внутрь.

Желтолицый стоял посреди комнаты, роясь в бельевом шкафу. На шум он даже распрямляться не стал, а как-то хитро развернулся и выстрелил, как показалось Загорскому, из подмышки прямо в Ганцзалина.

Однако выстрела не случилось. Спусковой механизм клацнул один, второй, третий раз – осечка следовала за осечкой.

– Порох отсырел, – констатировал Загорский. – Последнее дело – стрелять из мокрого пистолета.

Тут стало заметно, что незванный гость стоит мокрый с ног до головы, а рядом с дверью валяется пустое ведро.

Желтолицый, поняв что фокус со стрельбой не удался, сделал незаметное движение правой рукой к левому рукаву, но тут же замер – на него глядел браунинг Ганцзалина. Желтолицый криво улыбнулся, опустил руку.

– Хорошо ли ты стреляешь, брат? – сказал он по-китайски.

– Уж как-нибудь получше тебя, дурака, – свирепо оскалил зубы Ганцзалин. – Руки!

Желтолицый послушно поднял руки вверх. Ганцзалин передал браунинг Загорскому, сам подошел к желтолицему, похлопал его по тужурке, брюкам, залез даже в ботинки. Трофеями его стали пара метательных ножей и несколько звездочек с заостренными краями.

– Каменный век, – сказал он по-китайски. – Удивляюсь, что ты лук со стрелами сюда не приволок.

– Но все-таки согласись, что ведро с водой над дверью оказалось действенным, – заметил Загорский, тоже переходя на китайский. – Стоило окатить нашего незнакомого друга водой, как пыла у него поубавилось и в прямом, и в переносном смысле.

– Бесчестные, варварские методы, – поморщился желтолицый.

– Конечно, – кивнул Ганцалин. – А что, лучше было бы, если бы ты нас перестрелял, как куропаток?

– Я не перестрелял бы, – сказал желтолицый неожиданно мирно. – Я не затем сюда пришел.

– Вот об этом предлагаю поговорить поподробнее, – заметил Загорский. – Ганцалин, полотенце и халат нашему гостю!

Спустя пятнадцать минут сухой и умиротворенный пришелец – его, как выяснилось, звали Ли Сяосюн – сидел за столиком вместе с Загорским и Ганцалином, попивая настоящий китайский мóлихуá. Во время гражданской войны даже простой грузинский чай составлял необыкновенную редкость – жасминовый же смотрелся почти как нектар, которым наслаждались только боги-олимпийцы.

– Итак, что заставило вас покинуть Поднебесную и отправиться в далекую заснеженную Россию? – спросил Загорский.

Ли Сяосюн криво усмехнулся.

– Вы уж слишком гордитесь суровым климатом своей России, – сказал он. – В Хэйлунцзяне, откуда я родом, холода бывают покрепче, а снега куда больше, чем в Москве.

Из дальнейшего разговора стало ясно, что господин Ли явился в Москву за алмазом «Слеза Будды». Серьезные люди знали, что Нестор Васильевич отправился из Пекина в Тибет на поиски камня, однако назад в Пекин не возвратился. Шпионы Юáнь Шикáя донесли ему, что Загорский добрался до Лхáсы, после чего таинственным образом исчез. Те же самые шпионы президента донесли, что вместе с русским детективом, очевидно, исчез и камень. Из этого был сделан вывод, что Загорский украл алмаз и скрылся вместе с ним.

– Какие шустрые шпионы, – заметил Загорский саркастически, – их осведомленность поражает воображение.

– Проклятый карлик, – скрипнул зубами Ганцзалин. – Если только найду, отгрызу ему голову живьем.

Ли Сяосюн посмотрел на него удивленно: что за карлик?

– Есть такой брат Цзяньян, – отвечал Нестор Васильевич, – простой тибетский монах, но человек чрезвычайно пронырливый. До такой степени, что ему даже удалось убить меня.

– Убить? – поразился гость. – Но вы же живой...

– Про воскресение Христа что-нибудь слышал? – осклабился Ганцзалин.

– Прошу тебя, не кощунствуй, – остановил его хозяин.

Потом посмотрел на гостя чрезвычайно серьезно, и сказал ему, что алмаз он действительно нашел, однако алмаз этот оказался подделкой. Подлинный камень был украден тем самым братом Цзяньяном и передан... (тут Загорский на миг задумался) впрочем, пока не ясно, кому именно он был передан. Несколько лет Загорский лежал при смерти и ему, разумеется, было не до поисков камня.

– Очень жаль, – прищурился Ли Сяосюн. – Потому что от вас по-прежнему ждут возвращения алмаза в Пекин.

Нестор Васильевич удивился. Договоренность у него была с президентом Юань Шикаем, тот умер в 1916 году. Кто еще в Китае может ждать от него исполнения договоренностей?

– Вы хотите узнать, от чьего имени я действую? – спросил гость. – Увы, сказать этого я не могу.

Загорский улыбнулся.

– В сущности, можно догадаться и самому. – Он задумался ненадолго, потом начал перечислять. – Камнем может интересоваться премьер Сунь Ятсэнь, генерал Чжан Цзолинь и вообще бэйянские милитаристы, в том числе члены клуба Аньфу. Определенный интерес к нему наверняка испытывают японцы, которые мечтают возродить династию Цин, но в марионеточном варианте...

– Я поражен вашей осведомленностью, – улыбнулся Ли Сяосюн, – однако в Китае растут новые, мало кому пока известные силы. Впрочем, подсказывать вам я не стану, да это и не важно. Важно, чтобы вы нашли камень.

– В противном случае? – сказал Загорский, становясь серьезным.

– В противном случае пострадает ваш учитель, – отвечал Ли Сяосюн, изобразив на лице сожаление. – Если же это для вас не аргумент, скажу, что в памяти китайцев вы навеки останетесь вором, укравшим их национальное достояние. Если и это вас не убеждает, буду откровенен: вас жесточайшим образом накажут. Вы все время будете ходить под постоянной угрозой мучительной смерти. Признаю, со мной вы справились ловко. Однако я всего лишь парламентар. Вы знаете, как готовят в Китае убийц и шпионов. И если пришлют их, то вас не спасет ни ваш ум, ни ваша ловкость, ни даже ваше воинское искусство. Как видите, выбора у вас нет.

– Выбора нет, – согласился Загорский. – А раз так, сообщите вашим хозяевам, что я снова берусь за это дело. Как мне вас найти в случае чего?

– Меня не надо искать, – отвечал Ли Сяосюн, отставляя чашку. – Мы сами вас найдем, когда вы достигнете похитителя.

* * *

Доктор тибетской медицины Жамсаран, он же Петр Александрович Бадмаев, уселся в кресле поудобнее, взял в руку перо, обмакнул в чернильницу и пододвинул к себе стопку белой с водяными знаками бумаги вержé – хоть и рабочая записка, а все же государю пишется, нельзя, чтоб совсем без водяных знаков. Впрочем, Бадмаев лукавил: от этой якобы рабочей записки ждал он потрясения самих основ мироздания, ну, а если повезет, то и некоторого для себя гешефта.

Петр Александрович глубоко вздохнул и вывел красивым, насколько мог, почерком заглавие «Присоединение к России Китая, Тибета и Монголии».

– Вот так-то, – сказал он неизвестно кому, – так, и не менее того.

Великая идея Бадмаева состояла в том, чтобы все эти области, а в первую очередь Китай, присоединить к России, поскольку, по глубочайшему его убеждению, они уже готовы с охотой встать под руку Белого царя, его императорского величества Александра Третьего. Разумеется, дело обстояло не так просто и требовало значительных усилий, и в первую очередь – денежных вливаний. Но разве сравнятся любые траты с перспективами охватить русской властью главные области Азии, богатейшие земли, откуда в Россию потекут вековые миллиарды золота и серебра, лежавшие под спудом двадцать с лишним веков?

По профессии – врач, а по призванию – первопроходец, политик и негодник, Бадмаев твердо знал, что китайской империи Цин остались считанные годы. Не в этом веке, так в следующем, двадцатом, непременно должна она пасть от собственного гниения. Этот момент следует упредить, а при возможности – и подтолкнуть немного, и оказаться первыми в том месте, где будет решаться дальнейшая судьба Китая, Монголии и Тибета. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы территории эти захватили извечные наши противники англосаксы, не говоря уже о богомерзких немцах и лягушатниках-французах. Разумеется, все они уже раскрыли пасти, готовясь полакомиться жирным куском, однако ничего у них не выйдет, пока Жамсаран, а точнее, Петр Александрович Бадмаев стоит на страже интересов русского своего отечества.

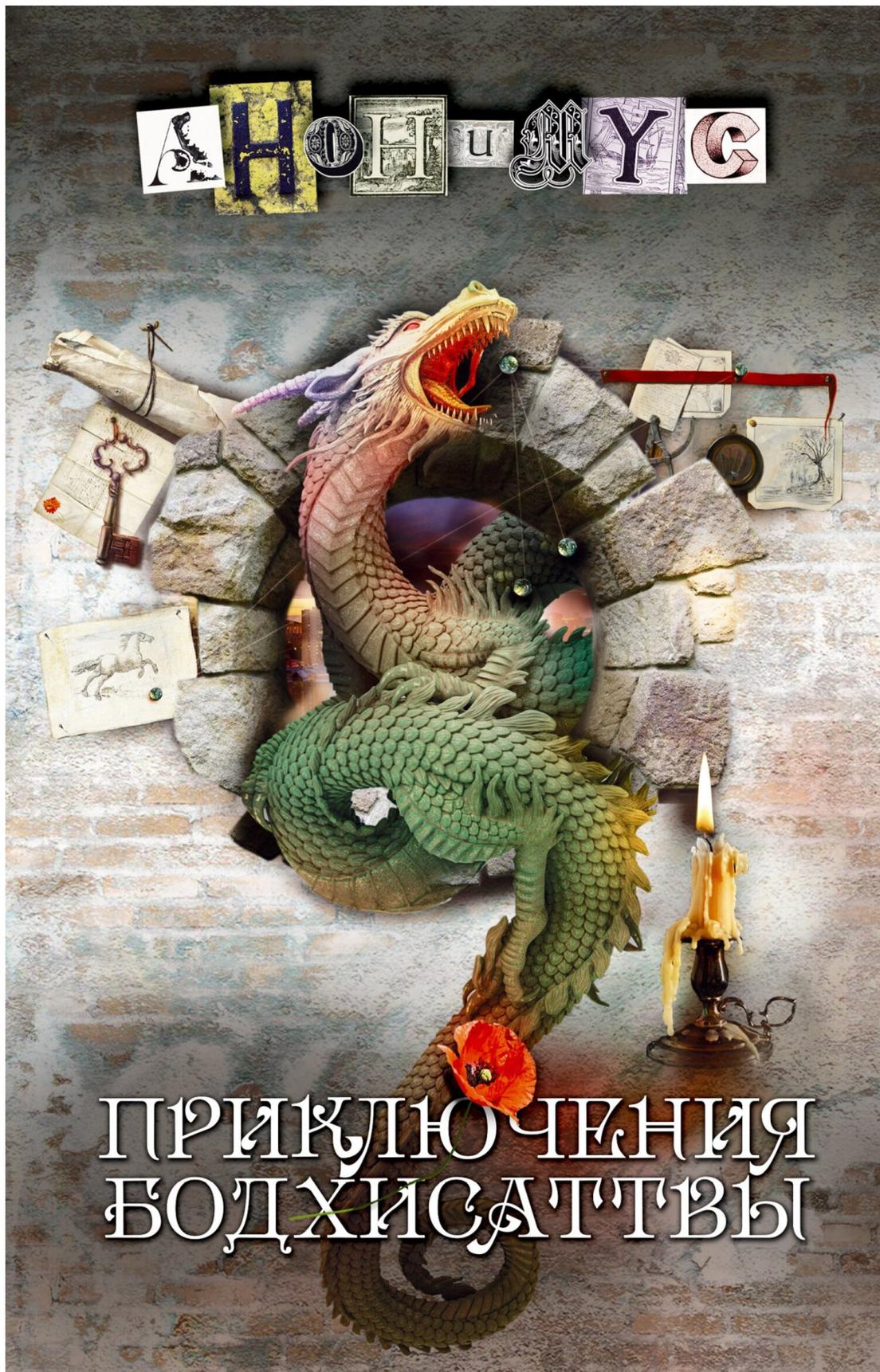
Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

АНТИМУС



ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БОДХИСАТТВЫ

Примечания

1

СК – Следственный комитет Российской Федерации.

[Вернуться](#)

2

Сансара – круговорот рождений и смертей в буддизме, индуизме и ряде других религий. Пребывание в сансаре сопровождается страданиями, каждое живое существо стремится выйти из этого круга.

[Вернуться](#)

3

Нирвана – освобождение от сансары, прекращение всех страданий, слияние с Абсолютом.

[Вернуться](#)

4

Дхарма – устои, основы.

[Вернуться](#)

5

Карма – причинно-следственный закон бытия.

[Вернуться](#)

6

Бардо – промежуточное состояние, в том числе между жизнью и смертью.

[Вернуться](#)

7

Бодхисаттва – пробужденный, вставший на путь спасения всех живых существ.

[Вернуться](#)

8

Махасаттва – великий бодхисаттва, достигший вершин понимания всего сущего.

[Вернуться](#)

9

Пять татхагат – пять аспектов высшей мудрости изначального Будды.

[Вернуться](#)

10

Дакини – женские дүхи, богини, носительницы тайных учений.

[Вернуться](#)

11

Гаури – восемь гневных богинь.

[Вернуться](#)

12

Mon ange (*фр.*) – мой ангел.

[Вернуться](#)